



Патрик Зюскинд

ПАРФЮМЕР

ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ

Азбука-бестселлер

Патрик Зюскинд

**Парфюмер. История
одного убийцы**

«Азбука-Аттикус»

1985

УДК 821(494)
ББК 84(4Шва)-44

Зюскинд П.

Парфюмер. История одного убийцы / П. Зюскинд — «Азбука-Аттикус», 1985 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-19178-5

Блистательный и загадочный «Парфюмер» Патрика Зюскинда был впервые напечатан в Швейцарии в 1985 году. Сегодня он признан самым знаменитым романом, написанным на немецком языке со времен «На Западном фронте без перемен» Ремарка, издан общим тиражом более 12 миллионов экземпляров, переведен на 47 языков, включая латынь, и, наконец, экранизирован. Фильм, вышедший в мировой прокат в 2006 году, имел огромный успех, а его создатели получили шесть наград Германской киноакадемии. Сегодня победное шествие Жан-Батиста Гренуя – великолепного всепобеждающего монстра – продолжается. Несомненно, этот захватывающий романтический детектив, уже ставший классикой, еще долго будет будоражить, притягивать и интриговать читателей самых разных пристрастий и вкусов.

УДК 821(494)
ББК 84(4Шва)-44

ISBN 978-5-389-19178-5

© Зюскинд П., 1985
© Азбука-Аттикус, 1985

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Патрик Зюскинд

Парфюмер: История одного убийцы

Patrick Süskind

Das Parfum

Copyright © 1985 by Diogenes Verlag AG Zürich, Switzerland

All rights reserved

© Э. В. Венгерова, перевод, 1999

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

Патрик Зюскинд – немецкий драматург и прозаик. Получил музыкальное образование, изучал историю в Мюнхенском университете. В 1994 году опубликовал пьесу «Контрабас», принесшую ему известность (в 2000 году она увидела свет рампой и в России). Зюскинд также известен как автор сценариев для телевидения. Роман «Парфюмер. История одного убийцы» издан в Швейцарии в 1985 году, переведен на 47 языков и до сих пор остается одной из наиболее популярных книг по всему миру.

* * *

Читательское потрясение, какое редко приходится пережить, феноменальный замысел.

«*Svenska Dagbladet*», Стокгольм

До дрожи прекрасный романтический детектив.

«*Abendzeitung*», Мюнхен

Часть первая

1

В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гренуй, и если это имя, в отличие от имен других гениальных чудовищ вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и т. д., ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гренуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, – короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивались сферой, не оставляющей следов в истории, – летучим царством запахов.

В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни – скверным углем и бараньим салом; непрветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен – едкими щелочами, со скотобоен – выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов – луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король – он вонял, как хищный зверь, а королева – как старая коза, зимой и летом. Ибо в восемнадцатом столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью.

И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом Париже было такое место между улицами О-Фер и Ферронри под названием Кладбище Невинных, где стояла совсем уж адская вонь. Восемьсот лет подряд сюда доставляли покойников из Отель-Дё и близлежащих приходов, восемьсот лет подряд сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы, восемьсот лет подряд их укладывали слоями, скелетик к скелетику, в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне Французской революции, после того как некоторые из могил угрожающе обвалились и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было наконец закрыто и разорено, миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монматра, а на этом месте сооружен рынок.

И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года был произведен на свет Жан-Батист Гренуй. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара как свинец лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения, пропахший смесью гнилых арбузов и жженого рога. Мать Гренуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице О-Фер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром выуженная из Сены, воняла уже так сильно, что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать Гренуя не воспринимала ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительно к запахам, а кроме того, у нее болело нутро, и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного – чтобы эта боль прекратилась и омерзительные роды как можно быстрее остались позади. Рожала она

в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь, у рыбной лавки, все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезавшая тогда из нее, не намного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней, да и жила не намного дольше, и вечером все вместе сгребали лопатой и увозили на тачке к кладбищу или вниз к реке. Так должно было произойти и сегодня, и мать Гренуя, которая была еще молода (ей как раз исполнилось двадцать пять), и еще довольно миловидна, и еще сохранила почти все зубы во рту и еще немного волос на голове, и, кроме подагры, и сифилиса, и легких головокружений, ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго, может быть пять или десять лет, и, может быть, даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги овдовевшего ремесленника... мать Гренуя желала от всей души, чтобы все поскорее кончилось. И когда схватки усилились, она забралась под свой разделочный стол и родила там, где рожала уже четыре раза, и отрезала новорожденное создание от пуповины рыбным ножом. Но потом из-за жары и вони, которую она воспринимала не как таковую, а только как нечто невыносимое, оглушающее, разящее – как поле лилий или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов, – она потеряла сознание, опрокинулась на бок, вывалилась из-под стола на середину улицы и осталась лежать там с ножом в руке.

Крик, суматоха, толпа зевак окружает тело, приводят полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя.

Спрашивают, что с ней.

– Ничего.

Что она делает ножом?

– Ничего.

Откуда кровь на ее юбках?

– Рыбная.

Она встает, отбрасывает нож и уходит, чтобы вымыться.

И тут, против ожидания, младенец под разделочным столом начинает орать. Люди оборачиваются на крик, обнаруживают под роем мух между требухой и отрезанными рыбными головами новорожденное дитя и вытаскивают его на свет Божий. Полиция отдает ребенка некой кормилице, а мать берут под стражу. И так как она ничего не отрицает и без лишних слов признает, что собиралась бросить ублюдка подышать с голоду, как она, впрочем, проделывала уже четыре раза, ее отдают под суд, признают виновной в многократном детоубийстве и через несколько недель казнят на Гревской площади.

Ребенок к этому моменту перешел уже к третьей кормилице. Ни одна не соглашалась держать его у себя дольше нескольких дней. Они говорили, что он слишком жадный, что сосет за двоих и тем самым лишает молока других грудных детей, а их, мамок, – средств к существованию: ведь кормить одного-единственного младенца невыгодно. Офицер полиции, в чьи обязанности входило пристраивать подкидышей и сирот, некий Лафосс, скоро потерял терпение и решил было отнести ребенка в приют на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно отправляли детей в Руан, в государственный приемник для подкидышей. Но поскольку транспортировка осуществлялась пешими носильщиками и детей переносили в лыковых коробах, куда из соображений экономии сажали сразу четырех младенцев; поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности; поскольку носильщики по этой причине соглашались брать только крещеных младенцев и только с выправленным по форме путевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать; и поскольку младенец Гренуй не получил ни крещения, ни имени, каковое можно было бы по всей форме занести в путевой лист; и поскольку, далее, со стороны полиции было бы неприлично высадить безымянного младенца у дверей сборного пункта, что было бы единственным способом избавиться от прочих формальностей... поскольку, стало быть, возник ряд трудностей бюрократического характера, связанных с эвакуацией младенца, и поскольку, кроме того, время поджимало, офицер полиции Лафосс отка-

зался от первоначального решения и дал указание сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное учреждение, чтобы там его окрестили и определили его дальнейшую судьбу. Его сдали в монастырь Сен-Мерри на улице Сен-Мартен.

Он получил при крещении имя Жан-Батист. И так как приор в тот день пребывал в хорошем настроении и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но постановили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, которой для начала в качестве платы за услуги предложили три франка в неделю.

2

Несколько недель спустя кормилица Жанна Бюсси с плетеной корзиной в руках явилась к воротам монастыря и заявила открывшему ей отцу Террье – лысому, слегка пахнущему уксусом монаху лет пятидесяти: «Вот!» – и поставила на порог корзину.

– Что это? – сказал Террье и, наклонившись над корзиной, обнюхал ее, ибо предполагал обнаружить в ней нечто съедобное.

– Ублюдок детоубийцы с улицы О-Фер!

Патер поворошил пальцем в корзине и открыл лицо спящего младенца.

– Он хорошо выглядит. Розовый и упитанный...

– Потому что он обожрал меня. Высосал до дна. Но теперь с этим покончено. Теперь можете кормить его сами козьим молоком, кашей, реповым соком. Он жрет все, этот ублюдок.

Патер Террье был человеком покладистым. По долгу службы он распоряжался монастырским благотворительным фондом, раздавал деньги бедным и неимущим. И он ожидал, что за это ему скажут спасибо и не будут обременять другими делами. Технические подробности были ему неприятны, ибо подробности всегда означали трудности, а трудности всегда нарушали его душевный покой, а этого он совершенно не выносил. Он сердился на себя за то, что вообще открыл ворота. Он желал, чтобы эта особа забрала свою корзину, и отправилась восвояси, и оставила его в покое со своими младенцами и проблемами. Он медленно выпрямился и втянул в себя сильный запах молока и свалявшейся овечьей шерсти, источаемый кормилицей. Запах был приятный.

– Я не понимаю, чего ты хочешь. Я действительно не понимаю, чего ты добиваешься. Я могу лишь представить себе, что этому младенцу отнюдь не повредит, если ты еще некоторое время покормишь его грудью.

– Ему не повредит, – отбрила Жанна, – а мне вредно. Я похудела на десять фунтов, хотя ела за троих. А чего ради? За три франка в неделю!

– Ах, понимаю, – сказал Террье чуть ли не с облегчением, – я в курсе дела: стало быть, речь опять о деньгах.

– Нет! – сказала кормилица.

– Не возражай! Речь всегда идет о деньгах. Если стучат в эти ворота, речь идет о деньгах. Иной раз я мечтаю, чтобы за дверью оказался человек, которому нужно что-то другое. Который, например, идучи мимо, захотел бы оставить здесь маленький знак внимания. Например, немного фруктов или несколько орехов. Мало ли по осени вещей, которые можно было бы занести, идучи мимо. Может быть, цветы. Пусть бы кто-нибудь просто заглянул и дружелюбно сказал: «Бог в помощь, отец Террье, доброго вам здоровья!» Но, видно, до этого мне уже не дожить. Если стучат – значит нищий, а если не нищий, так торговец, а если не торговец, то ремесленник, и если он не попросит милостыню, значит предъявит счет. Нельзя на улицу выйти. Не успеешь пройти по улице и трех шагов, как тебя уж осаждают субъекты, которым вынь да положь деньги.

– Это не про меня, – сказала кормилица.

– Вот что я тебе скажу: ты не единственная кормилица в приходе. Есть сотни превосходных приемных матерей, которые только и мечтают за три франка в месяц давать этому престелстному младенцу грудь, или кашу, или соки, или иное пропитание...

– Вот и отдайте его такой!

– ...но, с другой стороны, нехорошо так швыряться ребенком. Кто знает, пойдет ли ему на пользу другое молоко? Дитя, знаешь ли, привыкло к запаху твоей груди и к биению твоего сердца.

И он снова глубоко втянул в себя аромат теплого пара, который распространяла кормилица, но, заметив, что слова его не возымели действия, прибавил:

– А теперь бери ребенка и отправляйся домой. Я обсужу это дело с приором. Я попрошу его платить тебе в дальнейшем четыре франка в неделю.

– Нет, – сказала кормилица.

– Ну так и быть: пять!

– Нет.

– Так сколько же ты требуешь? – вскричал Террье. – Пять франков – это куча денег за такие пустяки, как кормление младенца!

– Я вообще не хочу никаких денег, – сказала кормилица. – Я не хочу держать ублюдка в своем доме.

– Но почему же, моя милая? – сказал Террье и снова поворошил пальцем в корзине. – Ведь дитя очаровательное. Такое розовое, не плачет, спит спокойно, и оно крещено.

– Он одержим дьяволом.

Террье быстро вытащил палец из корзины.

– Невозможно! Абсолютно невозможно, чтобы грудное дитя было одержимо дьяволом. Дитя не человек, но предчеловек и не обладает еще полностью сформированной душой. Следовательно, для дьявола оно не представляет интереса. Может, он уже говорит? Может, у него судороги? Может, он передвигает вещи в комнате? Может, от него исходит неприятный запах?

– От него вообще ничем не пахнет.

– Вот видишь! Вот оно, знамение. Будь он одержим дьяволом, от него бы воняло.

И чтобы успокоить кормилицу и продемонстрировать свою собственную смелость, Террье приподнял корзину и принялся.

– Ничего особенного, – сказал он, несколько раз втянув воздух носом, – действительно ничего особенного. Правда, мне кажется, что из пеленок чем-то пахнет. – И он протянул ей корзину, дабы она подтвердила его впечатление.

– Я не о том, – угрюмо возразила кормилица и отодвинула от себя корзину. – Я не о том, что в пеленках. Его грязные пеленки пахнут хорошо. Но сам он, сам ублюдок, не пахнет.

– Потому что он здоров, – вскричал Террье, – он здоров, вот и не пахнет! Пахнут только больные дети, это же всем известно. К примеру, если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом, а если скарлатина, то старыми яблоками, а чахоточный ребенок пахнет луком. Этот здоров – вот и все. Так зачем ему вонять? Разве твои собственные дети воняют?

– Нет, – сказала кормилица. – Мои дети пахнут так, как положено человеческим детям.

Террье осторожно поставил корзину обратно на землю, потому что почувствовал, как в нем нарастают первые приливы ярости из-за упрямства этой особы. Нельзя было исключить вероятности того, что в ходе дальнейшей дискуссии ему понадобятся обе руки для более свободной жестикуляции, и он не хотел тем самым причинить вред младенцу. Впрочем, для начала он крепко сцепил руки за спиной, выпятил свой острый живот по направлению к кормилице и строго спросил:

– Стало быть, ты утверждаешь, что тебе известно, как должно пахнуть дитя человеческое, каковое в то же время всегда – позволь тебе об этом напомнить, тем более что оно крещено – есть дитя Божие?

– Да, – сказала кормилица.

– И ты утверждаешь далее, что если оно не пахнет так, как должно пахнуть, по твоему разумению – по разумению кормилицы Жанны Бюсси с улицы Сен-Дени, – то это дитя дьявола?

Он выпростал из-за спины левую руку и угрожающе сунул ей под нос указательный палец, согнутый, как вопросительный знак. Кормилица задумалась. Ей было не по нутру, что разговор вдруг перешел в плоскость теологического диспута, где она была обречена на поражение.

– Я вроде бы так не говорила, – отвечала она уклончиво. – При чем здесь дьявол или ни при чем, решайте сами, отец Террье, это не по моей части. Я знаю только одно: на меня этот младенец наводит ужас, потому что он не пахнет, как положено детям.

– Ага, – сказал удовлетворенно Террье и снова заложил руки за спину. – Значит, слова насчет дьявола мы берем обратно. Хорошо. А теперь будь так любезна растолковать мне: как пахнут грудные младенцы, если они пахнут так, как, по твоему мнению, им положено пахнуть? Ну-с?

– Они хорошо пахнут, – сказала кормилица.

– Что значит «хорошо»? – зарычал на нее Террье. – Мало ли что хорошо пахнет. Пучок лаванды хорошо пахнет. Мясо из супа хорошо пахнет. Аравийские сады хорошо пахнут. Я желаю знать, чем пахнут младенцы?

Кормилица медлила с ответом. Она, конечно, знала, как пахнут грудные младенцы, она знала это совершенно точно, через ее руки прошли дюжины малышей, она их кормила, выхаживала, укачивала, целовала... Она могла учуять их ночью, даже сейчас она явственно помнила носом этот младенческий запах. Но она еще никогда не обозначала его словами.

– Ну-с? – ошетинился Террье и нетерпеливо щелкнул пальцами.

– Стало быть, – начала кормилица, – так сразу не скажешь, потому как... Потому как они не везде пахнут одинаково, хотя они везде пахнут хорошо, понимаете, святой отец, ножки у них, к примеру, пахнут, как гладкие теплые камешки... Нет, скорее, как горшочки... Или как сливочное масло, свежее масло, да, в точности, они пахнут, как свежее масло. А тельце у них пахнет... Ну вроде галеты, размоченной в молоке. А голова, там, сверху, с затылка, где закручиваются волосы, ну вот тут, святой отец, где у вас ничего уже не осталось, – и она постучала Террье, остолбеневшего от этого шквала дурацких подробностей и покорно склонившего голову, по лысине, – вот здесь, точно здесь, они пахнут лучше всего. Они пахнут карамелью, это такой чудный, такой сладкий запах, вы не представляете, святой отец! Как их тут понюхаете, так и полюбишь, все одно – свои они или чужие. Вот так и должны пахнуть малые дети, а больше никак. А если они так не пахнут, если они там, сверху, совсем не пахнут, ровно как холодный воздух, вроде вот этого ублюдка, тогда... Вы можете объяснять это как угодно, святой отец, но я, – и она решительно скрестила руки на груди и с таким отвращением поглядела на корзину у своих ног, словно там сидела жаба, – я, Жанна Бюсси, больше не возьму это к себе!

Патер Террье медленно поднял опущенную голову и несколько раз провел пальцем по лысине, словно хотел пригладить там волосы, потом как бы случайно поднес палец к носу и задумчиво обнюхал.

– Как карамель?.. – спросил он, пытаясь снова взять строгий тон. – Карамель! Что ты понимаешь в карамели? Ты хоть раз ее ела?

– Не то чтобы... – сказала кормилица. – Но я была однажды в большой гостинице на улице Сент-Оноре и видела, как ее готовят из жженого сахара и сливок. Это пахло так вкусно, что я век не забуду.

– Ну-ну. Будь по-твоему, – сказал Террье и убрал палец из-под носа. – Теперь помолчи, пожалуйста! Мне стоит чрезвычайного напряжения сил продолжать беседу с тобой на этом уровне. Я констатирую, что ты отказываешься по каким-то причинам впредь кормить грудью доверенного тебе младенца Жан-Батиста Гренуя и в настоящий момент возвращаешь его вре-

менному опекуну – монастырю Сен-Мерри. Я нахожу это огорчительным, но, по-видимому, не могу ничего изменить. Ты уволена.

С этими словами он поднял корзину, еще раз вдохнул исчезающее тепло, шерстяное дуновение молока, и захлопнул ворота. Засим он отправился в свой кабинет.

3

Патер Террье был человек образованный. Он изучал не только теологию, но читал и философов и попутно занимался ботаникой и алхимией. Он старался развивать в себе критичность ума. Правда, он не стал бы в этом отношении заходить так далеко, как те, кто ставит под вопрос чудеса, пророчества или истинность текстов Священного Писания, – даже если они часто не поддавались разумному объяснению и даже прямо ему противоречили. Он предпочитал не касаться подобных проблем, они были ему слишком не по душе и могли бы повергнуть его в самую мучительную неуверенность и беспокойство, а ведь для того, чтобы пользоваться своим разумом, человек нуждается в уверенности и покое. Однако он самым решительным образом боролся с суевериями простого народа. Колдовство и гадание на картах, ношение амулетов, заговоры от дурного глаза, заклинания духов, фокусы в полнолуние... Чем только эти люди не занимались! Его глубоко удручало, что подобные языческие обычаи после более чем тысячелетнего существования христианской религии все еще не были искоренены. Да и большинство случаев так называемой одержимости дьяволом и связи с Сатаной при ближайшем рассмотрении оказывались суеверным спектаклем. Правда, отрицать само существование Сатаны, сомневаться в его власти – столь далеко отец Террье не стал бы заходить; решать подобные проблемы, касающиеся основ теологии, не дело простого, скромного монаха, на это есть иные инстанции. С другой стороны, было ясно как день, что, если такая недалекая особа, как эта кормилица, утверждает, что она обнаружила какую-то чертовщину, значит Сатана никак не мог приложить руку к этому делу. Именно потому, что ей кажется, будто она его обнаружила. Ведь это верное доказательство, что никакой чертовщины нет и в помине, – Сатана не настолько глуп, чтобы позволять обнаружить себя кормилице Жанне Бюсси. Да еще нюхом! Этим самым примитивным, самым низменным из чувств! Как будто ад воняет серой, а рай – ладаном и миррой! Да это самое темное суеверие, достойное диких языческих времен, когда люди жили как животные, когда зрение их было настолько слабым, что они не различали цветов, но считали, что слышат запах крови, что могут по запаху отличить врага от друга, что их чуют великаны-людоеды и оборотни-волки, что на них охотятся эринии, – и потому приносили своим омерзительным богам сжигаемые на кострах вонючие чадающие жертвы. Ужасно! «Дурак видит носом» – больше, чем глазами, и, вероятно, свет богоданного разума должен светить еще тысячу лет, пока последние остатки первобытных верований не рассеются, как призраки.

– При чем же здесь это бедное малое дитя! Это невинное создание! Лежит в своей корзине и сладко спит и не ведает о мерзких подозрениях, выдвинутых против него. А эта наглая особа дерзает утверждать, что ты, мол, не пахнешь, как положено пахнуть человеческим детям! Ну и что мы на это скажем? У-тю-тю!

И он тихонько покачал корзину на коленях, погладил младенца пальцем по голове и несколько раз повторил «у-тю-тю», поскольку полагал, что это восклицание благотворно и успокоительно действует на грудных младенцев.

– Так тебе, значит, положено пахнуть карамелью, что за чепуха, у-тю-тю!

Через некоторое время он вытащил из корзины палец, сунул его себе под нос, принюхался, но услышал только запах кислой капусты, которую ел на обед.

Некоторое время он колебался, потом оглянулся – не наблюдает ли за ним кто-нибудь, поднял корзину с земли и погрузил в нее свой толстый нос, погрузил очень глубоко, так что тонкие рыжеватые волосики ребенка защекотали ему ноздри, и обнюхал голову младенца, ожи-

дая втянуть некий запах. Он не слишком хорошо представлял себе, как должны пахнуть головы младенцев. Разумеется, не карамелью, это-то было ясно, ведь карамель – жженный сахар, а как же младенец, который до сих пор пил только молоко, может пахнуть жженым сахаром. Он мог бы пахнуть молоком, молоком кормилицы. Но молоком от него не пахло. Он мог бы пахнуть волосами, кожей и волосами, и, может быть, немного детским потом. И Террье принялся и затем уговорил себя, что слышит запах кожи, волос и, может быть, слабый запах детского пота. Но он не слышал ничего. Как ни старался. Вероятно, младенцы не пахнут, думал он. Наверное, в этом дело. В том-то и дело, что младенец, если его содержать в чистоте, вообще не может пахнуть, как не может говорить, бегать или писать. Эти вещи приходят только с возрастом. Строго говоря, человек начинает источать сильный запах только в период полового созревания. Да, так оно и есть. Так – а не иначе. Разве в свое время Гораций не написал: «Юноша пахнет козленком, а девушка благоухает, как белый нарцисса цветок...»? Уж римляне кое-что в этом понимали! Человеческий запах – это всегда запах плоти, следовательно, запах греха. Так как же положено пахнуть младенцу, который еще ни сном ни духом не повинен в плотском грехе? Как ему положено пахнуть? У-тю-тю! Никак!

Он снова поставил корзину на колено и бережно покачал ее. Ребенок все еще крепко спал. Его правая рука, маленькая и красная, высовывалась из-под крышки и дергалась по направлению к щеке. Террье умиленно улыбнулся и вдруг почувствовал себя очень уютно. На какой-то момент он даже позволил себе фантастическую мысль, что будто бы он – отец этого ребенка. Будто бы он стал не монахом, а нормальным обывателем, может быть – честным ремесленником, нашел себе жену, теплую такую бабу, пахнущую шерстью и молоком, и родили они сына, и вот он качает его на своих собственных коленях, своего собственного сына, у-тю-тю... Эта мысль доставляла удовольствие. В ней было что-то такое утешительное. Отец качает своего сына на коленях, у-тю-тю, картина была старой как мир и вечно новой и правильной картиной, с тех пор как свет стоит, вот именно! У Террье потеплело на душе, он расчувствовался.

Тут ребенок проснулся. Сначала проснулся его нос. Крошечный нос задвигался, задрался кверху и принялся. Он втянул воздух и стал выпускать его короткими толчками, как при несостоявшемся чихании. Потом нос сморщился, и ребенок открыл глаза. Глаза были неопределенного цвета – между устрично-серым и опалово-бело-кремовым, затянуты слизистой пленкой и явно еще не слишком приспособлены для зрения. У Террье сложилось впечатление, что они его совершенно не воспринимали. Другое дело нос. Если тусклые глаза ребенка косились на нечто неопределенное, то его нос, казалось, фиксировал определенную цель, и Террье испытывал странное ощущение, словно этой целью был он лично, его особа, сам Террье. Крошечные крылья носа вокруг двух крошечных дырок на лице ребенка раздувались, как распускающийся бутон. Или, скорее, как чашечки тех маленьких хищных растений, которые растут в королевском ботаническом саду. Кажется, что от них исходит какая-то жуткая втягивающая сила. Террье чудилось, что ребенок видит его, смотрит на него своими ноздрями резко и испытующе, пронзительнее, чем мог бы смотреть глазами, словно глотает своим носом нечто исходящее от него, Террье, нечто, чего он, Террье, не смог ни спрятать, ни удержать.

Ребенок, не имевший запаха, бесстыдно его обнюхивал, вот что. Ребенок его чуял! И вдруг Террье показался себе воняющим – потом и уксусом, кислой капустой и нестираным платьем. Показался себе голым и уродливым, будто на него глазел некто, ничем себя не выдавший. Казалось, он пронюхивал его даже сквозь кожу, проникая внутрь, в самую глубь. Самые нежные чувства, самые грязные мысли обнажались перед этим маленьким алчным носом, который даже еще и не был настоящим носом, а всего лишь неким бугорком, ритмично морщившимся, и раздувающимся, и трепещущим крошечным дырчатым органом. Террье почувствовал озноб. Его мутило. Теперь и он тоже дернул носом, словно перед ним было что-то дурно пахнущее, с чем он не хотел иметь дело. Прощай, иллюзия, что тут его собственная плоть и кровь. Растоптана сентиментальная идиллия об отце, сыне и благоухающей матери. Словно оборван мяг-

кий шлейф ласковых мыслей, который он нафантазировал вокруг самого себя и этого ребенка: чужое, холодное существо лежало на его коленях, враждебное животное, и, если бы не самообладание и богобоязненность, если бы не разумный взгляд на вещи, свойственный характеру Террье, он бы в припадке отвращения стряхнул его с себя, как какого-нибудь паука.

Одним рывком Террье встал и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого младенца и от этого дела как можно быстрее, сейчас, немедленно.

И тут младенец заорал. Он сощурил глаза, разверз свой красный зев и заверещал так пронзительно и противно, что у Террье кровь застыла в жилах. Он тряс корзину на вытянутой руке и кричал «у-тю-тю!», чтобы заставить ребенка замолчать, но тот ревел все громче, лицо его посинело, и он, казалось, готов был лопнуть от рева.

Убрать его прочь! – думал Террье, сей момент убрать прочь этого... «дьявола», хотел он сказать, но спохватился и прикусил язык... Прочь это чудовище, этого невыносимого ребенка! Но куда? Он знал дюжину кормилиц и сиротских домов в квартале, но они были расположены слишком близко, слишком вплотную к нему, а это создание надо было убрать подальше, так далеко, чтобы его нельзя было в любой момент снова поставить под дверь, по возможности его следует отправить в другой приход, еще лучше – на другой берег Сены, лучше бы всего – за пределы города, в предместье Сент-Антуан, вот куда! Вот куда мы отправим этого крикуна, далеко на восток от города, по ту сторону Бастилии, где по ночам запирают ворота.

И, подобрав подол своей сутаны, он схватил ревущую корзину и бросился бежать – бежать по лабиринту переулков к Сент-Антуанскому предместью, бежать вдоль Сены, на восток, прочь из города, дальше до улицы Шаронн и вдоль этой улицы почти до конца, где он недалеко от монастыря Магдалины знал адрес некой мадам Гайар, которая брала на полный пансион детей любого возраста и любого происхождения, лишь бы ей платили, и там он отдал все еще оравшего младенца, заплатил за год вперед и бежал обратно в город. Добравшись до монастыря, он сбросил свое платье, словно нечто замаранное, вымылся с головы до ног и забрался в своей келье в постель, где много раз перекрестился, долго молился и наконец уснул.

4

Мадам Гайар, хотя ей еще не было и тридцати лет, уже прожила свою жизнь. Внешность ее соответствовала ее действительному возрасту, но одновременно она выглядела вдвое, втрое, в сто раз старше, она выглядела как мумия девушки; но внутренне она давно была мертва. В детстве отец ударил ее кочергой по лбу, прямо над переносицей, и с тех пор она потеряла обоняние, и всякое ощущение человеческого тепла и человеческого холода, и вообще всякие сильные чувства. Одним этим ударом в ней были убиты и нежность, и отвращение, и радость, и отчаяние. Позже, совокупляясь с мужчиной и рожая своих детей, она точно так же не испытывала ничего, ровно ничего. Не печалилась о тех, которые у нее умирали, и не радовалась тем, которые у нее остались. Когда муж избивал ее, она не вздрагивала, и она не испытала облегчения, когда он умер от холеры в Отель-Дьё. Единственные два известных ей ощущения были едва заметное помрачение души, когда приближалась ежемесячная мигрень, и едва заметное просветление души, когда мигрень проходила. И больше ничего не чувствовала эта умершая заживо женщина.

С другой стороны... А может быть, как раз из-за полного отсутствия эмоциональности мадам Гайар обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтения ни одному из порученных ей попечению детей и ни одного не ущемляла. Она кормила их три раза в день, и больше им не доставалось ни кусочка. Она пеленала маленьких три раза в день, и только до года. Кто после этого еще мочился в штаны, получал равнодушную пощечину и одной кормежкой меньше. Ровно половину получаемых денег она тратила на воспитанников, ровно половину удерживала для себя. В дешевые времена она не пыталась увели-

чить свой доход, но в тяжкие времена она не докладывала к затратам ни одного су, даже если дело шло о жизни и смерти. Иначе предприятие стало бы для нее убыточным. Ей нужны были деньги, она все рассчитала совершенно точно. В старости она собиралась купить себе ренту, а сверх нее иметь еще достаточно средств, чтобы позволить себе помереть дома, а не околевать в Отель-Дьё, как ее муж. Сама его смерть оставила ее равнодушной. Но ей было отвратительно это публичное совместное умирание сотен чужих друг другу людей. Она хотела позволить себе частную смерть, и для этого ей нужно было набрать необходимую сумму полностью. Правда, бывали зимы, когда у нее из двух дюжин маленьких постояльцев помирало трое или четверо. Но тем не менее этот результат был значительно лучше, чем у большинства частных воспитательниц, и намного превосходил результат больших государственных или церковных приютов, чьи потери часто составляли девять десятых подкидышей. Впрочем, заменить их не составляло труда. Париж производил ежегодно свыше десяти тысяч новых подкидышей, незаконнорожденных и сирот. Так что с некоторыми потерями легко мирились.

Для маленького Гренуя заведение мадам Гайар было благословением. Вероятно, нигде больше он бы не выжил. Но здесь, у этой бездушной женщины, он расцвел. Сложения он был крепкого и обладал редкой выносливостью.

Тот, кто подобно ему пережил собственное рождение среди отбросов, уже не так-то легко позволит сжить себя со свету. Он мог целыми днями хлебать водянистые супы, он обходился самым жидким молоком, переваривал самые гнилые овощи и испорченное мясо. На протяжении своего детства он пережил корь, дизентерию, ветряную оспу, холеру, падение в колодезь шестиметровой глубины и ожоги от кипятка, которым ошпарил себе грудь.

Хоть у него и остались от этого шрамы, и оспины, и струпья, и слегка изуродованная нога, из-за которой он прихрамывал, – он жил. Он был вынослив, как приспособившаяся бактерия, и неприхотлив, как клещ, который сидит на дереве и живет крошечной каплей крови, раздобытой несколько лет назад.

Для тела ему нужно было минимальное количество пищи и платья. Для души ему не нужно было ничего. Безопасность, внимание, нежность, любовь и тому подобные вещи, в которых якобы нуждается ребенок, были совершенно лишними для Гренуя. Более того, нам кажется, он сам лишил себя их, чтобы выжить, – с самого начала.

Крик, которым он заявил о своем рождении, крик из-под разделочного стола, приведший на эшафот его мать, не был инстинктивным криком о сострадании и любви. Это был взвешенный, мы чуть было не сказали – зрело взвешенный, крик, которым новорожденный решительно голосовал против любви и все-таки за жизнь. Впрочем, при данных обстоятельствах одно было возможно только без другого, и потребуй ребенок всего – он, без сомнения, тут же погиб бы самым жалким образом. Хотя... Он мог воспользоваться тогда предоставленной ему второй возможностью – молчать и выбрать путь от рождения до смерти без обходной дороги через жизнь, тем самым избавив мир и себя от огромного зла. Однако, чтобы столь скромно уйти в небытие, ему понадобился бы минимум врожденного дружелюбия, а им он не обладал. Он был с самого начала чудовищем. Он проголосовал за жизнь из чистого упрямства и из чистой злобности.

Разумеется, он решил на это не так, как решает взрослый человек, использующий свой более или менее сильный разум и опыт, чтобы выбрать между двумя различными перспективами. Но все же он сделал выбор – вегетативно, как делает выбор зерно: нужно ли ему пускать ростки или лучше оставаться непроросшим. Или как клещ на дереве, коему жизнь тоже не предлагает ничего иного, кроме перманентной зимовки. Маленький уродливый клещ скручивает свое свинцово-серое тело в шарик, дабы обратить к внешнему миру минимальную поверхность; он делает свою кожу гладкой и плотной, чтобы не испускать наружу ничего – ни малейшего излучения, ни легчайшего испарения. Клещ специально делает себя маленьким и неприметным, чтобы никто не заметил и не растоптал его. Одиноким клещ, сосредоточившись

в себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и немой, и только вынюхивает, годами вынюхивает на расстоянии нескольких миль кровь проходящих мимо живых, которых он никогда не догонит. Клещ мог бы позволить себе упасть. Он мог бы позволить себе упасть на землю леса, проползти на своих крошечных ножках несколько миллиметров туда или сюда и зарыться в сухую листву – умирать, и никто бы о нем не пожалел. Богу известно, что никто. Но клещ, упрямый, упорный и мерзкий, притаился, и живет, и ждет. Ждет, пока в высшей степени невероятный случай подгонит прямо к нему под дерево кровь в виде какого-нибудь животного. И только тогда он отрешается от своей скрытности, срывается, и вцепляется, и ввинчивается, впивается в чужую плоть.

Таким клещом был маленький Гренуй. Он жил, замкнувшись в свою оболочку, и ждал лучших времен. Миру он не отдавал ничего, кроме своих нечистот: ни улыбки, ни крика, ни блеска глаз, ни даже запаха. Любая другая женщина оттолкнула бы этого ребенка. Но не мадам Гайар. У нее ведь не было обоняния, она не знала, что он не пахнет, и не ждала от него никакого душевного движения, потому что ее собственная душа была запечатана.

Зато другие дети тотчас почувствовали, что с Гренуем что-то неладно. С первого дня новенький внушал им неосознанный ужас. Они обходили его колыбель и теснее прижимались друг к другу на своих лежанках, словно в комнате становилось холоднее. Те, что помоложе, иногда плакали по ночам: им казалось, что в спальне дует. Другим снилось, что он отбирает у них дыхание. Однажды старшие дети сговорились его задушить. Они навалили ему на лицо лохмотья, и одеяло, и солому. Когда мадам Гайар на следующее утро раскопала его из-под кучи тряпья, он был весь измочален, истерзан, весь в синяках, но не мертв. Они попытались проделать это еще пару раз – напрасно. Просто так, собственными руками, сдавить ему глотку или зажать ему нос или рот, что было бы более надежным способом, – они боялись. Они не хотели к нему прикасаться. Он вызывал у них чувство омерзения, как огромный паук, которого не хочется, противно давить.

Когда он вырос, они отказались от покушений на его жизнь. Они, кажется, поняли, что уничтожить его невозможно. Вместо этого они стали чураться его, убегать прочь, во всяком случае избегать соприкосновения. Они его не ненавидели. Они его и не ревновали, и не завидовали ему. Для подобных чувств в заведении мадам Гайар не было ни малейшего повода. Им просто мешало его присутствие. Они не слышали его запаха. Они его боялись.

5

При этом, с объективной точки зрения, в нем не было ничего устрашающего. Подростком он был не слишком высок, не слишком силен, пусть уродлив, но не столь исключительно уродлив, чтобы пугаться при виде его. Он был не агрессивен, не хитер, не коварен, он никого не провоцировал. Он предпочитал держаться в стороне. Да и интеллект его, казалось, менее всего мог вызвать ужас. Он встал на обе ноги только в три года, первое слово произнес – в четыре, это было слово «рыбы» – оно вырвалось из него в момент внезапного возбуждения, как эхо, когда на улицу Шаронн явился издалека какой-то торговец рыбой и стал громко расхваливать свой товар. Следующие слова, которые он выпустил из себя наружу, были: «герань», «козий хлев», «савойская капуста» и «Жак Страхолюд» (прозвище помощника садовника из ближайшего монастыря Жен-Мироносиц, мадам Гайар иногда нанимала его для самой тяжелой работы, и он отличался тем, что не мылся ни разу в жизни). Что касается глаголов, прилагательных и частиц, то их у Гренуя было и того меньше. Кроме «да» и «нет» – их, впрочем, он сказал впервые очень поздно, – он произносил только основные слова, по сути только имена собственные и названия конкретных вещей, растений, животных и людей, да и то лишь тогда, когда эти вещи, растения, животные или люди ненароком вторгались в его обоняние.

Сидя под мартовским солнцем на поленнице буковых дров, потрескивавших от тепла, он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Он и понимал его: ведь зимой его часто посылали принести дров. Но самый предмет – дрова – не казался ему достаточно интересным, чтобы произносить его название. Это произошло только в тот мартовский день, когда он сидел на поленнице. Поленница была сложена в виде скамьи у южной стены сарая мадам Гайар под крышей, образующей навес. Верхние поленья пахли горячо и сладко, из глубины поленницы поднимался легкий аромат моха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений.

Гренуй сидел на дровах, вытянув ноги и опираясь спиной на стену сарая, он закрыл глаза и не двигался. Он ничего не видел, ничего не слышал и не ощущал. Он просто вдыхал запах дерева, клубившийся вокруг него и скапливавшийся под крышей, как под колпаком. Онпил этот запах, утопал в нем, напиваясь им до самой последней внутренней поры, сам становился деревом, он лежал на гряде дерева, как деревянная кукла, как пинокио, как мертвый, пока, спустя долгое время, может быть полчаса, он изрыгнул из себя слово «дрова». Так, словно он был до краев полон дровами, словно он был сыт дровами по горло, словно его живот, глотка, нос были забиты дровами, – вот как его вытошнило этим словом.

И это привело его в чувство, спасло от пересиливающего присутствия самого дерева, от его аромата, угрожавшего ему удушьем. Он подобрался, свалился с поленницы и поковылял прочь на деревянных ногах. Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления и, когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, бормотал про себя, словно заклиная: «Дрова, дрова».

Так он учился говорить. Со словами, которые не обозначали пахнущих предметов, то есть с абстрактными понятиями, прежде всего этическими и моральными, у него были самые большие затруднения. Он не мог их запомнить, путал их, употреблял их, даже уже будучи взрослым, неохотно и часто неправильно: право, совесть, Бог, радость, ответственность, смирение, благодарность и т. д. – то, что должно выражаться ими, было и осталось для него туманным. С другой стороны, обиходного языка вскоре оказалось недостаточно, чтобы обозначить все те вещи, которые он собрал в себе как обонятельные представления. Вскоре он различал по запаху уже не просто дрова, но их сорта: клен, дуб, сосна, вяз, груша, дрова старые, свежие, трухлявые, гнилые, замшелые, он различал на нюх даже отдельные чурки, щепки, опилки – и различал их так ясно, как другие люди не смогли бы различить на глаз. С другими вещами дело обстояло примерно так же.

То, что белый напиток, который мадам Гайар ежеутренне раздавала своим подопечным, всегда назывался молоком, хотя он каждое утро совершенно по-другому воспринимался Гренуем на запах и на вкус, – ведь оно было холодное или горячее, происходило от той или иной коровы, с него снимали больше или меньше сливок... то, что дым, ежеминутно, даже ежесекундно переливавшийся сотнями отдельных ароматов и образующий композицию запахов, смешивающихся в новое единство, и дым костра имели лишь одно, именно это, название: «дым»... то, что земля, ландшафт, воздух, которые на каждом шагу, с каждым вздохом наполнялись иным запахом и потому одушевлялись иной идентичностью, тем не менее должны были обозначаться всего тремя, именно этими, неуклюжими словами – все эти гротесковые расхождения между богатством обонятельно воспринимаемого мира и бедностью языка вообще заставили маленького Гренуя усомниться в самом языке; и он снисходил до его использования, только если этого непременно требовало общение с другими людьми.

К шести годам он обонятельно полностью постиг свое окружение. В доме мадам Гайар не было ни одного предмета, в северной части улицы Шаронн не было ни одного места, ни одного человека, ни одного камня, дерева, куста или забора, ни одного даже самого маленького закоулка, которого он не знал бы на нюх, не узнавал и прочно не сохранял бы в памяти во всей его неповторимости. Он собрал десять тысяч, сто тысяч специфических, единственных в

своем роде запахов и держал их в своем распоряжении так отчетливо, так живо, что не только вспоминал о них, если слышал их снова, но и на самом деле их слышал, если снова вспоминал о них; более того – он даже умел в своем воображении по-новому сочетать их и таким образом создавал в себе такие запахи, которых вообще не существовало в действительности.

Он вскоре овладел огромным словарем, позволявшим ему составлять из запахов любое число новых фраз, – и это в том возрасте, когда другие дети, с трудом подбирая вколоченные в них слова, лепечут банальные короткие предложения, отнюдь не достаточные для описания мира. Пожалуй, точнее всего было бы сравнить его с музыкальным вундеркиндом, который из мелодий и гармоний извлекал азбуку отдельных звуков и вот уже сам сочиняет совершенно новые мелодии и гармонии, правда с той разницей, что алфавит запахов был несравненно больше и дифференцированней, чем звуковой, и еще с той, что творческая деятельность вундеркинда Гренуя разыгрывалась только внутри его и не могла быть замечена никем, кроме его самого.

Внешне он становился все более замкнутым. Ему нравилось бродяжничать в северной части Сент-Антуанского предместья, рыскать по огородам, полям, виноградникам. Иногда он не возвращался ночевать, пропадал из дому на несколько дней. Положенную за это экзекуцию он выносил безропотно. Домашний арест, лишение пищи, штрафная работа не могли изменить его поведения. Нерегулярное посещение (в течение полутора лет) приходской школы при церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур не оказало на него сколько-нибудь заметного влияния. Он научился немного читать по складам и писать свое имя, и ничему больше. Учитель считал его слабоумным. Зато мадам Гайар заметила, что у него были определенные способности и свойства, весьма необычные, чтобы не сказать сверхъестественные. Так, ему, казалось, был совершенно неведом детский страх темноты и ночи. Его можно было в любое время за любым делом послать в подвал, куда другие дети едва решались входить с фонарем; или за дровами – в сарай на дворе, в самую непроглядную ночную тьму. И он никогда не брал с собой фонаря и все же точно находил и немедленно приносил требуемое, не сделав ни единого неверного движения, не споткнувшись и ничего не опрокинув. Но конечно, еще более странным было то, что Гренуй, как неоднократно замечала мадам Гайар, умел видеть сквозь бумагу, ткань, дерево и даже сквозь прочно замурованные каменные стены и плотно закрытые двери. Он знал, кто именно из воспитанников находится в дортуаре, не входя туда. Он знал, что в цветной капусте притаилась улитка, прежде чем кочан успевали разрубить. А однажды, когда мадам Гайар так хорошо припрятала деньги, что и сама не могла их найти (она меняла свои тайники), он, ни секунды не сомневаясь, указал на место за стояком камина, и надо же – там-то они и нашлись! Он даже будущее мог предвидеть: случалось, он докладывал о визите какого-либо человека задолго до его прихода или безошибочно предсказывал приближение грозы, хотя на небе еще не появилось ни малейшего облачка.

О том, что всего этого он, конечно, не видел, не видел глазами, а все острее и точнее чувствовал носом: улитку в капусте, деньги за стояком, человека за стеной на расстоянии нескольких кварталов, – об этом мадам Гайар не догадалась бы и во сне, даже если бы ее обоняние не пострадало от того удара кочергой. Она была убеждена, что у этого мальчика – слабоумный он или нет – есть второе лицо. А поскольку она знала, что двуличные приносят несчастья и смерть, ей стало жутко.

Еще более жуткой, прямо-таки невыносимой была мысль, что под одной с нею крышей живет некто, имеющий дар сквозь стены и балки видеть тщательно спрятанные деньги, и как только она открыла эту ужасную способность Гренуя, она постаралась от него избавиться, и так все удачно сложилось, что как раз в это время – Греную было восемь лет – монастырь Сен-Мерри, не объясняя причин, прекратил свои ежегодные выплаты. Мадам не стала напоминать монастырю о его задолженности. Ради приличия она подождала одну неделю, и, когда недостающие деньги все еще не поступили, она взяла мальчика за руку и отправилась с ним в город.

На улице Мортельри недалеко от реки жил один ее знакомый – кожевник по фамилии Грималь, которому постоянно нужны были мальчишки для работы – не в качестве учеников или подмастерьев, а в качестве дешевых чернорабочих. Ведь в этом ремесле приходилось выполнять настолько опасные для жизни операции – мездрить гниющие звериные шкуры, смешивать ядовитые дубильные и красильные растворы, выводить едкие протравы, – что порядочный мастер, обычно жалея губить своих обученных помощников, нанимал безработный и бездомный сброд или беспризорных детей, чьей судьбой в случае несчастья никто не станет интересоваться. Разумеется, мадам Гайар знала, что в дубильне Грималья у Гренуя – по человеческим меркам – не было шанса остаться в живых. Но не такая она была женщина, чтобы задумываться о подобных вещах. Она же выполнила свой долг. Опека кончилась. Что бы ни случилось с воспитанником в будущем, ее это не касалось. Выживет он – хорошо, помрет – тоже хорошо, главное, чтоб все было по закону. И потому она попросила господина Грималья письменно подтвердить передачу мальчика, в свою очередь расписалась в получении пятнадцати франков комиссионных и отправилась домой на улицу Шаронн.

Она не испытывала ни малейших угрызений совести. Напротив, полагала, что поступила не только по закону, но и по справедливости, поскольку пребывание в приюте ребенка, за которого никто не платил, было возможно лишь за счет других детей или даже за ее собственный счет, а может быть, и угрожало будущему других детей или даже ее собственному будущему, и в итоге ее собственной огражденной, частной смерти – единственному, чего она еще желала в жизни.

Поскольку здесь мы расстаемся с мадам Гайар, да и позже уже не встретимся с нею, опишем в нескольких фразах ее последние дни. Хотя душой мадам умерла еще в детстве, она дожила, к несчастью, до глубокой, глубокой старости. В лето от Рождества Христова 1782-е, на семидесятом году жизни, она оставила свое ремесло, купила, как и намеревалась, ренту, сидела в своем домишке и ожидала смерти. Но смерть не приходила. Вместо смерти пришло нечто, на что не мог рассчитывать ни один человек на свете и чего еще никогда не бывало в стране, а именно революция, то есть происшедшее с бешеной скоростью коренное изменение всех общественных, моральных и трансцендентных отношений. Поначалу эта революция не оказывала влияния на личную судьбу мадам Гайар. Но потом – ей уже было под восемьдесят – выяснилось, что человек, плативший ей ренту, лишился собственности и вынужден был эмигрировать, а его имущество купил с аукциона фабрикант брюк. Некоторое время еще казалось, что и эта перемена обстоятельств не скажется роковым образом на судьбе мадам Гайар, потому что брючный фабрикант продолжал исправно выплачивать ренту. Но потом настал день, когда она получила свои деньги не монетой, а в форме маленьких бумажных листков, и это было началом ее материального конца.

Через два года ренты стало не хватать даже на оплату дров. Мадам была вынуждена продать свой дом по смехотворно низкой цене, потому что, кроме нее, внезапно объявились тысячи других людей, которым тоже пришлось продавать свои дома. И снова она получила взамен лишь эти нелепые бумажки, и снова через два года они почти ничего не стоили, и в 1797 году – ей тогда было под девяносто – она потеряла все свое скопленное по крохам, нажитое тяжким вековым трудом имущество и ютилась в крошечной меблированной каморке на улице Кокий. И только теперь с десяти-, с двадцатилетним опозданием подошла смерть – она пришла к ней в образе опухоли, болезнь схватила мадам за горло, лишила ее сначала аппетита, потом голоса, так что она не могла возразить ни слова, когда ее отправляли в богадельню Отель-Дьё. Там ее поместили в ту самую залу, битком набитую сотнями умирающих людей, где некогда умер ее муж, сунули в общую кровать к пятерым другим совершенно посторонним старухам (они лежали, тесно прижатые телами друг к другу) и оставили там на три недели принародно умирать. Потом ее зашили в мешок, в четыре часа утра вместе с пятьюдесятью другими трупами швырнули на телегу и под тонкий перезвон колокольчика отвезли на новое кладбище в

Кламар, что находится в миле от городских ворот, и там уложили на вечный покой в братской могиле под толстым слоем негашеной извести.

Это было в 1799 году. Но мадам, слава Богу, не предчувствовала своей судьбы, возвращаясь домой в тот день 1747 года, когда она покинула мальчика Гренуй – и наше повествование. Иначе она, вероятно, потеряла бы веру в справедливость и тем самым в единственный доступный ей смысл жизни.

6

С первого взгляда, который он бросил на господина Грималья, – нет, с первого чуткого вдоха, которым он втянул в себя запах Грималья, – Гренуй понял, что этот человек в состоянии забить его насмерть за малейшую оплошность. Его жизнь стоила теперь ровно столько, сколько его работа, его жизнь равнялась лишь той пользе, которой измерял ее Грималь. И Гренуй покорно лег к ногам хозяина, ни разу не сделав ни единой попытки привстать. Изодня в день он снова закупоривал внутрь себя всю энергию своего упрямства и строптивости, применяя ее лишь для того, чтобы, подобно клещу, пережить предстоявший ледниковый период: терпеливо, скромно, незаметно, сохраняя огонь жизненной надежды на самом маленьком, но тщательно оберегаемом костре. Теперь он стал образцом послушания, непротивительности и трудолюбия, ловил на лету каждое приказание, довольствовался любой пищей. По вечерам он послушно позволял запира́ть себя в пристроенный сбоку к мастерской чулан, где хранилась утварь, рабочие инструменты и висели просоленные сырые кожи. Здесь он спал на голом утрамбованном земляном полу. Целыми неделями он работал, пока было светло, зимой – восемь, летом – четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать часов: мездрил издававшие страшное зловоние шкуры, вымачивал их в воде, сгонял волос, обмазывал известью, протравливал и мял, колол дрова, обдирал кору с берез и тисов, спускался в дубильные ямы, наполненные едкими испарениями, укладывал слоями, как приказывали ему подмастерья, кожи и кору, раскидывал раздавленные чернильные орешки, забрасывал этот жуткий костер ветками тиса и землей. Через несколько лет ему приходилось снова раскапывать и извлекать из этой могилы трупы шкур, мумифицированные до состояния дубленых кож.

Если он не закапывал и не выкапывал шкуры, то таскал воду. Месяцами он таскал с реки наверх воду, всегда по два ведра, сотни ведер в день, ибо кожевенное дело требует огромного количества воды для мытья, вымачивания, кипячения, крашения. Месяцами он работал водоносом, промокая до нитки, вечерами его одежда сочилась водой, а кожа была холодной, мягкой и набухшей, как замша.

Через год такого – скорее животного, чем человеческого – существования он заболел сибирской язвой, этой страшной болезнью кожевников, которая обычно имеет смертельный исход. Грималь уже поставил на нем крест и начал подыскивать ему замену, – впрочем, не без сожаления, поскольку он еще никогда не имел более скромного и старательного работника, чем этот Гренуй. Однако, против всякого ожидания, Гренуй выздоровел. Только за ушами, на шее и на щеках у него остались шрамы от больших черных нарывов, которые уродовали его и делали еще безобразней, чем прежде. Зато у него остался – бесценное преимущество – иммунитет к сибирской язве, так что теперь он мог мездрить самые плохие шкуры даже кровоточащими, растрескавшимися руками, не подвергаясь опасности заразиться снова. Этим он выгодно отличался не только от других учеников и подмастерьев, но и от своих собственных потенциальных преемников. И поскольку теперь его стало не так легко заменить, стоимость его работы повысилась, а тем самым и цена его жизни. Ему вдруг разрешили не спать больше на голом полу, а сколотить себе деревянный лежак в сарае, застелить его соломой и укрываться одеялом. Его больше не запирали на ночь. Еда стала более сносной. Грималь обращался с ним теперь не просто как с животным, а как с полезным домашним животным.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, Грималь стал освобождать его от работы на полдня по воскресеньям, а с тринадцати ему даже в будни разрешалось на час после работы выходить из дому и делать, что он хотел. Он одержал победу, ибо остался в живых, и у него была некоторая свобода, чтобы жить дальше. Время зимовки прошло. Клещ Гренуй снова ожил. Он чувствовал утренний воздух. Его охватил охотничий азарт. Перед ним открылся величайший в мире заповедник запахов: город Париж.

7

Это было как в сказке. Уже близлежащий квартал Сен-Жак-де-ля-Бушри и улицы в районе церкви Св. Евстахия были сказкой. В переулках, ответвлявшихся от улиц Сен-Дени и Сен-Мартен, люди жили так плотно, дома в пять, шесть этажей стояли так тесно, что закрывали небо, и воздух был стоячим, как вода в канавах, и насквозь пропитан запахами. В нем мешались запахи людей и животных, испарения пищи и болезни, воды и камня, золы и кожи, мыла и свежеспеченного хлеба и яиц, сваренных в уксусе, лапши и до блеска начищенной латуни, шалфея, и пива, и слез, жира и мокрой и сухой соломы. Тысячи и тысячи запахов создавали невидимую лаву, наполнявшую пропасти улиц, которая над крышами исчезала лишь изредка, а с мостовой – никогда. Люди, обитавшие там, давно привыкли к этой смеси: ведь она возникла из них и снова и снова пропитывала их, ведь это был воздух, которым они дышали и жили, он был как заношенная теплая одежда – ее не чувствуешь на теле, ее запаха не замечаешь. Но Гренуй все это слышал впервые. И он не только воспринимал мешанину ароматов во всей ее полноте – он расщеплял ее аналитически на мельчайшие и отдаленнейшие части и частицы. Его тонкий нюх распутывал узел из испарений и вони на отдельные нити основных, более неразложимых запахов. Ему доставляло невыразимое удовольствие распутывать и пряхать эти нити.

Он часто останавливался, прислонившись к стене какого-нибудь дома или забившись в темный угол, и стоял там, закрыв глаза, полуоткрыв рот и раздувая ноздри, неподвижный, как хищная рыба в глубокой, темной, медленно текущей воде. И когда наконец дуновение воздуха подбрасывало ему кончик тончайшей ароматной нити, он набрасывался на этот один-единственный запах, не слыша больше ничего вокруг, хватал его, вцеплялся в него, втягивал его в себя и сохранял в себе навсегда. Это мог быть давно знакомый запах или его разновидность, но мог быть и совсем новый, почти или совсем не похожий на все, что ему до сих пор приходилось слышать, а тем более видеть: например, запах глаженного шелка, запах тимьянового чая, запах куска вышитой серебром парчи, запах пробки от бутылки с редким вином, запах черепахового гребня. Гренуй гонялся за такими еще неизвестными ему запахами, ловил их со страстностью и терпением рыбака и собирал в себе.

Досыта нанюхавшись густого запаха переулков, он уходил в места, где запахи были тоньше, смешивались с ветром и разносились почти как духи: скажем, на рыночную площадь, где вечерами крепко держались запахи дня – незримые, но в то же время столь явственные, словно в толпе еще кишели торговцы, стояли корзины с овощами и яйцами, бочонки, полные вина и уксуса, мешки с пряностями и картофелем и мукой, ящики с гвоздями и гайками, мясные столы, столы, заваленные тканями, и посудой, и подметками, и сотнями других вещей, которые продавались днем... Вся эта сутолока и суета до мельчайших подробностей присутствовала в воздухе, который она оставляла после себя. Гренуй, так сказать, носом видел весь этот базар. И носом он видел его точнее, чем другой увидел бы глазами, поскольку Гренуй воспринимал его «вслед» и потому более возвышенно: как эссенцию, как дух чего-то прошлого, не нарушенного обычными атрибутами настоящего – такими, как шум, яркость, отвратительная толкотня живых людей.

Или он шел туда, где казнили его мать, на Гревскую площадь, которая подобно огромному языку высывалась в реку. Здесь, вытащенные на берег или причаленные к тумбам, стояли корабли и лодки и пахло углем, и зерном, и сеном, и мокрой пенькой канатов.

А с запада, по той единственной просеке, которую река провела через город, проникал широкий поток ветра и приносил запахи полей, лугов под Нейи, лесов между Сен-Жермен и Версалем, далеких городов вроде Руана и Канна, а иногда даже и моря. Море пахло как надутый парус, в котором запутались вода, соль и холодное солнце. Оно пахло просто, это море, но запах был одновременно большим и своеобразным, так что Гренуй не решался расщепить его на рыбное, соленое, водянистое, водоросли, свежесть и так далее. Он предпочел не разбивать его, сохранил в памяти целиком и наслаждался им во всей полноте. Запах моря понравился ему настолько, что он захотел когда-нибудь получить его чистым, без примесей, и в таком количестве, чтобы от него можно было опьянеть. И позже, когда из рассказов он узнал, что море большое и по нему можно целыми днями плыть на кораблях, не встречая суши, он обычно представлял, что сидит на таком корабле высоко наверху, в корзине на самой передней мачте, и летит куда-то вдаль по бесконечному запаху моря, который даже и не запах вовсе, а дыхание, выдох, конец всех запахов, и от удовольствия он словно растворяется в этом дыхании. Но этому не дано было сбыться, ибо Греную, стоявшему на Гревской площади на берегу Сены и многократно вдыхавшему маленький обрывок морского ветра, попавший ему в нос, не суждено было никогда в жизни увидеть море, настоящее море, великий океан, лежащий на западе, не позволено было смешаться с его запахом.

Квартал между церковью Св. Евстахия и городской ратушей он скоро изучил на нюх так точно, что не заблудился бы там и самой темной ночью. И тогда он расширил поле своей охоты – сначала на запад к предместью Сент-Оноре, потом вверх по улице Сент-Антуан до Бастилии и, наконец, даже на другой берег реки до квартала Сорбонны и предместья Сен-Жермен, где жили богатые люди. Сквозь чугунные решетки ворот пахло кожей карет и пудрой в париках пажей, а через высокие стены из садов переливался аромат дрока и роз и только что подстриженных кустов бирючины. И здесь же Гренуй впервые услышал запах духов – в собственном смысле слова. Это была простая лавандовая или розовая вода, которую в торжественных случаях подмешивали в садовые фонтаны, но и более сложные, более драгоценные ароматы мускусной настойки, смешанной с маслом померанца и туберозы, жонкилий, жасмина или корицы, которые по вечерам, как тяжелый шлейф, тянулись за экипажами. Он запоминал эти ароматы, как запоминал вульгарные запахи, с любопытством, но без особого изумления. Впрочем, он заметил, что духи намеренно старались одурманить и привлечь его обоняние, и он признал достоинства отдельных эссенций, из которых они состояли. Но в целом они казались ему все же грубыми и пошлыми, разбавленными, а не скомпонованными, и он знал, что мог бы изготовить совершенно другие благовония, имея он в своем распоряжении такие же исходные материалы.

Многие из этих материалов он уже встречал прежде, на рынке – в цветочных рядах и рядах с пряностями, другие были для него новыми, и их он фильтровал из ароматических смесей и безымянными сохранял в памяти: амбру, цибетин, пачули, сандаловое дерево, бергамот, ветиверию, опопанакс, росной ладан, цвет хмеля, бобровую струю...

Он не был привередлив. Между тем, что повсеместно обозначалось как хороший запах или дурной запах, он не делал различий – пока не делал. Он был алчен. Цель его охотничьих вылазок состояла в том, чтобы просто-напросто овладеть всеми запахами, какие мог предложить ему мир, и единственное условие заключалось в том, чтобы запахи были новыми. Запах конского пота значил для него столько же, сколько нежный аромат распускающегося розового бутона, острая вонь клопа – не меньше, чем пар жаркого из телятины, просачивавшийся из господских кухонь. Он поглощал, вбирал в себя все, все подряд. Но и в синтезирующей кухне его воображения, где он постоянно составлял новые комбинации запахов, еще не господство-

вал никакой эстетический принцип. Это были причудливые фантазии, он создавал и тут же разрушал их, как ребенок, играющий в кубики, – изобретательно и деструктивно, без различного творческого принципа.

8

Первого сентября 1753 года, в годовщину восшествия на престол короля, город Париж устроил фейерверк на Королевском мосту. Зрелище не было таким роскошным, как фейерверк в честь бракосочетания короля или как легендарный фейерверк по случаю рождения дофина, но все же это был весьма впечатляющий фейерверк. На мачтах кораблей были укреплены золотые солнечные колеса. Так называемые огненные звери изрыгали с моста в реку пылающий звездный дождь. Повсюду с оглушительным шумом взрывались петарды, и на мостовых лопались шутихи, а в небо поднимались ракеты и рисовали белые лилии на черном пологие небосвода. Многотысячная толпа, собравшаяся на мосту и на набережных с обеих сторон реки, сопровождала этот спектакль восторженными ахами и охами и криками «Браво!» и даже «Виват!» – хотя король вступил на трон тридцать восемь лет назад и пик народной любви давно уже остался позади. Вот что в состоянии совершить фейерверк.

Гренуй молча стоял в тени павильона Флоры, на правом берегу, напротив Королевского моста. Он не участвовал в ликовании, даже ни разу не взглянул на летящие вверх ракеты. Он пришел в надежде унюхать что-нибудь новое, но скоро выяснилось, что фейерверк в смысле запахов ничего ему не обещает. Все, что искрилось, и сияло, и трещало, и свистело там в расточительном многообразии, представляло собой в высшей степени однообразную смесь запахов серы, масла и селитры.

Он уже собрался покинуть это скучное мероприятие, чтобы, держась вдоль галереи Лувра, направиться домой, но тут ветер что-то донес до него, что-то крошечное, едва заметное, обрывок, атом нежного запаха – нет, еще того меньше: это было скорее предчувствие, чем действительный запах, и одновременно уверенная догадка, что ничего подобного он никогда не слышал. Он снова отпрянул к стене, закрыл глаза и раздул ноздри. Аромат был так нежен и тонок, что снова и снова ускользал от восприятия, его нельзя было удержать, его перекрывал пороховой дым петард, блокировали испарения человеческих масс, разрывали и стирали тысячи других запахов города. Но потом – вдруг – он снова появлялся, какую-то короткую секунду маленький лоскуток благоухал роскошным намеком... И тут же исчезал. Гренуй мучительно страдал. Впервые страдал не только его алчный характер, натолкнувшийся на оскорбление, но действительно страдало его сердце. У него появилось смутное ощущение, что этот аромат – ключ к порядку всех других ароматов, что нельзя ничего понять в запахах, если не понять этого единственного, и он, Гренуй, зря проживет жизнь, если ему не удастся овладеть им. Он должен заполучить его не просто для того, чтобы утолить жажду обладания, но ради спокойствия своего сердца.

Ему чуть не стало дурно от возбуждения. Он еще даже не установил, откуда вообще исходил этот аромат. Иногда интервалы между дуновениями длились минуты, и каждый раз на него нападал жуткий страх, что он потерял его навсегда. Наконец он пришел к спасительному заключению, что аромат доносится с другого берега реки, откуда-то с юго-востока.

Оторвавшись от стены павильона Флоры, Гренуй нырнул в человеческую гущу и стал прокладывать себе путь через мост. Он то и дело останавливался, приподнимался на носках, чтобы принюхаться поверх голов, сперва от страшного возбуждения не слышал ничего, потом наконец что-то улавливал, вцеплялся в аромат даже крепче, чем прежде, убеждался, что движется к цели, снова нырял в толпу зевак и пиротехников, беспрестанно подносявших свои факелы к фитилям шутих, терял свой ориентир в едком пороховом дыму, впадал в панику, снова локтями и всем корпусом проталкивался вперед... Через несколько бесконечных минут

он оказался на другом берегу, миновал особняк Майи, набережную Малакэ, то место, где подходит к реке улица Сены...

Здесь он остановился, перевел дух и принялся. Он поймал его. Теперь он его не упустит. Аромат, словно лента, спускался по улице Сены, неповторимый и отчетливый, но все такой же очень нежный и очень тонкий. Гренуй почувствовал, как бьется его сердце, и понял, что бьется оно не от напряжения бега, а от вдруг возникшей беспомощности перед присутствием этого запаха. Он попытался вспомнить что-нибудь похожее, сравнимое с ним, но все сравнения не годились. В этом запахе была свежесть; но не свежесть лиметты или померанцев, не свежесть мирры, или коричневого листа, или кудрявой мяты, или березового сока, или камфары, или сосновых иголок, не свежесть майского дождя, или морозного ветра, или родниковой воды... И одновременно он источал тепло; но не так, как бергамот, кипарис или мускус, не как жасмин и нарцисс, не как розовое дерево и не как ирис... В этом запахе сливалось и то и другое, летучее и тяжелое, но они не просто смешивались, а были чем-то единым и к тому же небольшим и слабым и в то же время прочным и крепким, как кусок тонкого переливчатого шелка... Но нет, это было не как шелк, а как медовой сладости молоко, в котором растворяется пирожное, – но тогда одно с другим не вязалось при всем желании: молоко и шелк! Какой-то непостижимый аромат, неописуемый, он не помещался никуда, собственно, его вообще не должно было быть. И все-таки он был – в самой великолепной неоспоримости. Гренуй следовал за ним с колотящимся от страха сердцем, потому что смутно догадывался, что не он следует за ароматом, но что аромат захватил его в плен и теперь непреодолимо влечет к себе.

Он двинулся вверх по улице Сены. На улице не было ни души. Дома стояли пустые и тихие. Люди ушли вниз к реке любоваться фейерверком. Здесь ему не мешали ни лихорадочный запах толпы, ни пороховая вонь. Улица пахла как обычно – водой, помоями, крысами и овощными отбросами. Но над всем этим парила нежно и отчетливо та лента, которая привела сюда Гренуя. Через несколько шагов слабый свет ночного неба поглотили высокие дома, и Гренуй пошел дальше в темноте. Ему не нужно было ничего видеть. Запах надежно вел его за собой.

Через пятьдесят метров он свернул вправо на улицу Марэ, в совсем уже темный переулок, где, разведя руки в стороны, можно было коснуться домов на противоположных сторонах мостовой. Станным образом запах стал ненамного сильнее. Он только становился чище и благодаря этому, благодаря этой все большей чистоте, приобретал все более мощную притягательность. Гренуй шел словно против воли. В одном месте запах твердо повернул его направо, ему показалось, что он сейчас упрется в стену какого-то дома. Но в середине стены обнаружилась низкая арка прохода. Словно лунатик Гренуй прошел через арку, ведущую во двор, завернул за угол, попал во второй дворик, поменьше, и здесь наконец был свет: освещен был квадрат двора всего в несколько шагов. К стене под косым углом был пристроен деревянный навес. На столе под навесом горела свеча. За столом сидела девушка и чистила мирабель. Она брала фрукты из стоящей слева от нее корзины, отрывала черенок, ножом извлекала косточку и бросала в ведро. Ей было лет тринадцать-четырнадцать. Гренуй остановился. Он сразу понял, что было источником аромата, который он учуял на расстоянии более полумили на другом берегу реки: не этот грязный двор, не мирабель. Источником была девушка.

Он был совершенно сбит с толку. На миг ему в самом деле показалось, что еще никогда в жизни он не вдыхал ничего столь прекрасного, как эта девушка. К тому же, стоя против света, он видел только ее силуэт. Он, конечно, имел в виду, что никогда не нюхал ничего столь прекрасного. Но так как он все же знал человеческие запахи, много тысяч запахов мужчин, женщин, детей, в его мозгу не укладывалось, что столь изысканный аромат мог струиться от человека. Обычно люди пахли пошло или убого. Дети пахли безвкусно, от мужчин несло мочой, острым потом и сыром, от женщин – прогорклым салом и гнилой рыбой. Люди пахли совершенно неинтересно, отталкивающе... И вот впервые в жизни Гренуй не поверил своему носу,

и ему пришлось призвать на помощь глаза, чтобы убедиться, что нюх его не обманул. Правда, это смятение чувств длилось недолго. Ему в самом деле понадобился один миг, чтобы оптически подтвердить свои обонятельные впечатления и тем безогляднее им предаться. Теперь он чувствовал, что она была – человек, чувствовал пот ее подмышек, жир ее волос, рыбный запах ее чресел и испытывал величайшее наслаждение. Ее пот благоухал, как свежий морской ветер, волосы – как ореховое масло, чресла – как букет водяных лилий, кожа – как абрикосовый цвет... И соединение всех этих компонентов создавало аромат столь роскошный, столь гармоничный, столь волшебный, что все ароматы, когда-либо прежде слышанные Гренуем, все сооружения из запахов, которые он, играя, когда-либо возводил внутри себя, вдруг просто разрушились, потеряв всякий смысл. Сто тысяч ароматов не стоили этого одного. Он один был высшим принципом, все прочие должны были строиться по его образцу. Он был сама красота.

Гренуй понял: если он не овладеет этим ароматом, его жизнь лишится всякого смысла. Он должен познать его до мельчайших подробностей, до самого последнего нежнейшего оттенка; простого общего воспоминания о нем недостаточно. Он хотел поставить личное клеймо на этом апофеозном аромате, впечатать его в сумятицу своей черной души, исследовать до тонкости и отныне впредь мыслить, жить, обонять мир в соответствии с внутренними структурами этой волшебной формулы.

Он медленно придвигался к девушке, ближе, еще ближе. Вот он вступил под навес и остановился у нее за спиной на расстоянии шага. Она его не слышала.

Волосы у нее были рыжие, серое платье без рукавов обнажало очень белые плечи и руки, желтые от сока разрезанных слив. Гренуй стоял, склонившись над ней и вдыхая ее аромат, теперь совершенно беспримесный, поднимавшийся от ее затылка, волос, выреза платья и вливавшийся в него как свежий ветер. Ему еще никогда не было так приятно. Но девушке стало холодно.

Она не видела Гренуя. Но ощутила безотчетный испуг, странный озноб, как будто ее вдруг охватил забытый, давно преодоленный страх. Ей показалось, будто за спиной у нее подул холодный сквозняк, будто кто-то распахнул настежь дверь в огромный подвал. И она отложила свой кухонный нож, прижала руки к груди и обернулась.

Она так оцепенела от ужаса при виде его, что ему вполне хватило времени, чтобы сжать руками ее шею. Она не вскрикнула, не пошевелилась, не попыталась защититься хотя бы жестом. А он и не взглянул на нее. Он не видел ни ее нежного, усыпанного веснушками лица, ни алого рта, ни больших ярко-зеленых глаз, ибо, пока он душил ее, глаза его были крепко зажмурены и он боялся лишь одного – потерять хоть каплю ее аромата.

Когда она умерла, он положил ее на землю среди косточек мирабели, сорвал с нее платье, и струя аромата превратилась в поток, захлестнувший его своим благоуханием. Он припал лицом к ее коже и широко раздутыми ноздрями провел от ее живота к груди, к шее, по лицу и по волосам и назад к животу, вниз по бедрам, по икрам, по ее белым ногам. Он впитал ее запах с головы до ног, до кончиков пальцев, он собрал остатки ее запаха с подбородка, пупка и со сгибов ее локтей.

Когда он извлек все и она увяла, он еще некоторое время сидел рядом с ней на корточках, чтобы прийти в себя, ибо он пресытился ею. Он не хотел расплескать ничего из ее запаха. Для начала ему надо было плотно задраить внутренние переборки. Потом он встал и задул свечу.

В это время с песнями и криками «Виват!» начали возвращаться домой на улицу Сены участники гулянья. Гренуй нюхом нашел в темноте выход в переулок, а оттуда на параллельную улицу Птиз-Огюстен, которая тоже вела к реке. Чуть позже люди обнаружили мертвую. Поднялся крик. Зажглись факелы. Прибыла городская стража. Гренуй давно уже был на другом берегу.

В эту ночь его чулан показался ему дворцом, а дощатые нары – пышным альковым. До сих пор он никогда за всю свою жизнь не испытывал ощущения счастья. Хотя ему были зна-

комы редкие состояния тупой удовлетворенности. Но сейчас он дрожал от счастья, не мог заснуть от блаженства. Он словно во второй раз родился, нет, не во второй, в первый, ибо до сих пор он просто существовал, как животное, имея весьма туманное представление о самом себе. Но сегодня ему показалось, что он наконец узнал, кто он на самом деле: а именно не кто иной, как гений; и что его жизнь имеет смысл, и задачу, и цель, и высшее предопределение: а именно осуществить революцию, никак не меньше, в мире запахов; и что на всем свете только он один владеет всеми необходимыми для этого средствами: а именно своим изощренным обонянием, своей феноменальной памятью и – самое важное – запечатленным в ней ароматом этой девушки с улицы Марэ, в котором в виде волшебной формулы содержится все, из чего состоит благоухание: нежность, сила, прочность, многогранность и пугающая, непреодолимая красота. Он нашел компас для своей будущей жизни. И как все гениальные чудовища, устроенные так, что через внешнее событие прокладывается прямая колея в вихреобразный хаос их душ, Гренуй уже более не отклонялся от того, что он принимал и признавал за направление своей судьбы. Теперь ему стало ясно, почему он так упорно и ожесточенно цеплялся за жизнь: он должен был стать Творцом запахов. И не каким-то заурядным. Но величайшим парфюмером всех времен.

Уже той же ночью, сначала бодрствуя, потом во сне, он провел инспекцию огромного поля, где лежали руины его воспоминаний. Он перебрал миллионы и миллионы обломков, кубиков, кирпичиков, из которых строятся запахи, и привел их в систематический порядок: хорошее к хорошему, плохое к плохому, тонкое к тонкому, грубое к грубому, зловонное к зловонному, благоуханное к благоуханному. Через неделю этот порядок стал еще стройнее, каталог запахов еще содержательнее и дифференцированнее, иерархия еще четче, уже скоро он смог приступить к планомерному возведению зданий запахов: дома, стены, ступени, башни, подвалы, комнаты, тайные покои... С каждым днем расширявшаяся, с каждым днем становившаяся красивее и совершеннее внутренняя крепость великолепнейших композиций ароматов.

То обстоятельство, что в начале этого великолепия стояло убийство, было ему (если он вообще отдавал себе в этом отчет) глубоко безразлично. Облика девушки с улицы Марэ – ее лица, ее тела – он уже не мог припомнить. Ведь он же сохранил лучшее, что отобрал и присвоил себе: сущность ее аромата.

9

В то время в Париже насчитывалось более дюжины парфюмеров. Шестеро из них жили на правом берегу, шестеро – на левом, а один как раз посередине, а именно на мосту Менял, соединявшем правый берег с островом Сите. Этот мост с обеих сторон был так плотно застроен четырехэтажными домами, что с него ни в одном месте нельзя было увидеть реку, так что создавалось впечатление вполне нормальной, основательной, хорошо мощенной и к тому же чрезвычайно элегантной улицы. В самом деле, мост Менял считался одним из самых модных кварталов города. Здесь находились знаменитые лавки, где свой товар предлагали ювелиры, резчики по черному дереву, лучшие изготовители париков, чемоданов, сумок и кошельков, тончайшего нижнего белья и чулок, рамок для картин и сапог для верховой езды, вышивальщицы эполет, литейщики золотых пуговиц и банкиры. И здесь же располагались магазин и жилой дом парфюмера и перчаточника Джузеппе Бальдини. Над его витриной был натянут роскошный, зеленого цвета навес, рядом висел герб Бальдини, весь в золоте: золотой флакон, из коего вырастал букет золотых цветов, а перед дверьми лежал красный ковер, также с гербом Бальдини, вышитым золотом. Когда открывалась наружная дверь, раздавался звон колокольчика, исполнявшего персидскую мелодию, и две серебряные цапли начинали извергать фиалковую воду из своих клювов прямо в позолоченную чашу, которая, в свою очередь, имела форму герба Бальдини.

А за конторкой светлого самшита стоял сам Бальдини, старый и неподвижный, как колонна, в парике, обсыпанном серебряной пудрой, и сюртуке, обшитом золотым галуном. Облако миндальной воды Франжипани, которой он опрыскивал себя каждое утро, прямо-таки зримо окружало его и отодвигало его особу в некую прозрачно-туманную даль. В своей неподвижности он был похож на свой собственный манекен. Только когда раздавался мелодичный звон колокольчика и цапли начинали фонтанировать – что случалось не слишком часто, – манекен мгновенно оживал, съезживался, становился маленьким и юрким и, отвешивая многочисленные поклоны, вылетал из-за конторки так стремительно, что пахучее облако едва успевало ринуться вслед; после чего покорнейше просил клиента присесть и насладиться выбором изысканнейших ароматов и косметических средств.

У Бальдини их были тысячи. Ассортимент простирался от чистых эссенций, цветочных масел, настоек, вытяжек, выделений, бальзамов, смол и прочих препаратов в сыпучей, жидкой и вязкой форме – через помады, пасты, все сорта пудры и мыла, сухие духи, фиксатуары, бриллиантины, эликсиры для рращения бороды, капли для сведения бородавок и крошечные пластыри для исправления изъянов внешности, – вплоть до притираний, лосьонов, ароматических солей, туалетных жидкостей и бесконечного количества духов. Но Бальдини не довольствовался этими продуктами классической косметики. Он считал делом чести собирать в своей лавке все, что источало какой-либо аромат или как-либо служило для получения аромата. И потому наряду с курительными свечками, пастилками и ленточками там имелись все пряности – от семян аниса до палочек корицы, сиропы, ликеры и фруктовые воды, вина с Кипра, из Малаги и Коринфа, множество сортов меда, кофе, чая, сушеные и засахаренные фрукты, фиговые, карамели, шоколадки, каштаны, даже консервированные каперсы, огурцы и лук и маринованный тунец. А кроме того, ароматизированный сургуч для печатей, надушенная писчая бумага, чернила для любовных писем, пахнущие розовым маслом, бювары из испанской кожи, футляры для перьев из белого сандала, ларцы и сундучки из кедрового дерева, горшочки и чашечки для цветочных лепестков, курительницы из латуни, флаконы и флакончики из хрусталя с притертыми янтарными пробками, пахучие перчатки, носовые платки, подушечки для иголок, набитые мускатным цветом, и пропитанные мускусом обои, которые могли более ста лет наполнять комнату ароматом.

Разумеется, для всех этих товаров не хватило бы места в помпезной лавке, выходившей на улицу (то есть на мост), а поскольку подвала не было, то не только кладовая, но и второй и третий этажи, а также все обращенные к реке помещения первого служили складом. В результате в доме Бальдини царил неопиcуемый хаос запахов. Насколько изысканным было качество отдельных товаров – ибо Бальдини покупал товары только высшего качества, – настолько же невыносимым был одновременно исторгаемый ими запах, подобный звучанию оркестра, в котором каждый из тысячи музыкантов играет фортиссимо свою собственную мелодию. Сам Бальдини и его служащие давно принялись к этому хаосу, как стареющие дирижеры, которые ведь все до единого тугоухи, и даже жена хозяина, жившая на четвертом этаже и отчаянно сопротивлявшаяся дальнейшему расширению складских помещений, почти уже притерпелась ко многим запахам. Другое дело – клиент, впервые посетивший лавку Бальдини. Царивший здесь коктейль ароматов действовал на него как удар кулаком в лицо, вызывал, в зависимости от характера клиента, восхищение или смущение, во всяком случае сбивал его с толку до такой степени, что человек часто переставал соображать, зачем вообще он сюда пришел. Мальчишки-посылные забывали свои поручения. Нахальные господа тушевались. А некоторые дамы переживали не то истерику, не то приступ клаустрофобии, падали в обморок, и привести их в чувство могли разве что самые резкие нюхательные соли из гвоздичного масла, нашатыря и камфарного спирта.

При таких обстоятельствах, в общем, неудивительно, что колокольчик у дверей лавки Джузеппе Бальдини все реже вызванивал персидскую мелодию, а серебряные цапли все реже фонтанировали фиалковой водой.

10

– Шенье! – позвал Бальдини из-за конторки, где он несколько часов простоял столбом, уставившись на закрытую дверь. – Надевайте ваш парик!

И между бочонком с оливковым маслом и подвешенными на крюки байоннскими окороками появился Шенье, подмастерье Бальдини, тоже уже старый человек, хотя и моложе хозяина, и прошел вперед, в более изящно обставленное помещение лавки. Он вытащил из кармана сюртука свой парик и нахлобучил его на голову.

– Вы уходите, господин Бальдини?

– Нет, – сказал Бальдини, – я удаляюсь на пару часов в мой рабочий кабинет и желаю, чтобы меня абсолютно никто не беспокоил.

– А, понимаю! Вы изобретаете новые духи.

Бальдини. Вот именно. По заказу графа Верамона. Он хочет ароматизировать кусок испанской кожи и требует чего-то совершенно нового. Требует чего-то вроде... Вроде... Кажется, это называется «Амур и Психея» – то, что он требует, а изготовлено оно этим бездарным тупицей с улицы Сент-Андре-дез-Ар... Как его бишь...

Шенье. Пелисье.

Бальдини. Да. Пелисье. Верно. Так его зовут, этого тупицу. «Амур и Психея» от Пелисье. Знаете эти духи?

Шенье. Еще бы не знать. Теперь их слышишь на каждом углу. Ими душится весь свет. Но если вас интересует мое мнение – ничего особенного! Они, разумеется, не идут ни в какое сравнение с вашими, господин Бальдини.

Бальдини. Конечно не идут.

Шенье. В высшей степени банальный запах у этого «Амура».

Бальдини. Вульгарный?

Шенье. Чрезвычайно вульгарный, как у всех духов Пелисье. Я думаю, они на лиметине.

Бальдини. В самом деле? А что там еще?

Шенье. Померанцевая эссенция, кажется. И может быть, настойка розмарина.

Бальдини. Мне это совершенно безразлично.

Шенье. Конечно.

Бальдини. Мне глубоко наплевать, что там намешал в свои духи этот тупица Пелисье. Мне он не указ!

Шенье. Вы совершенно правы, сударь.

Бальдини. Как вам известно, мне никто не указ! Как вам известно, я сам разрабатываю свою парфюмерию.

Шенье. Я знаю, сударь.

Бальдини. Я сам рождаю все свои идеи!

Шенье. Я знаю.

Бальдини. И собираюсь создать для графа Верамона нечто такое, что произведет настоящий фурор.

Шенье. Я в этом убежден, господин Бальдини.

Бальдини. Я оставляю лавку на вас, Шенье. Мне нужно работать. Не позволяйте никому беспокоить меня, Шенье.

И с этими словами старик, уже отнюдь не величественный, а сгорбленный, как и подобает в его возрасте, и даже будто прибитый, заковылял прочь и медленно поднялся по лестнице на второй этаж, где находился его рабочий кабинет.

Шенье занял место за конторкой, принял точно ту же позу, в которой пребывал его хозяин, и неподвижным взглядом уставился на дверь. Он знал, что произойдет в ближайшие часы, а именно: в лавке – ровно ничего, а наверху, в рабочем кабинете Бальдини, обычная катастрофа. Бальдини снимет свой голубой сюртук, пропитанный водой Франжипани, сядет за письменный стол и будет ожидать вдохновения свыше. А вдохновение не придет. Потом он кинется к шкафу с флаконами проб и начнет смешивать что-то наобум. Смесь не получится. Он разразится проклятиями, распахнет окно и вышвырнет пробу в реку. Потом попытается смешать что-то другое, и у него опять ничего не получится, тогда он начнет вопить и бесноваться и, одурев от наполнивших кабинет запахов, разразится рыданиями. Часам к семи вечера он спустится вниз, жалкий, плачущий, дрожащий, и скажет: «Шенье, я потерял обоняние, я не могу родить эти духи, не могу изготовить бювар для графа, я погиб, внутри меня все мертво, я хочу умереть, пожалуйста, Шенье, помогите мне умереть!» И Шенье предложит послать к Пелисье за флаконом «Амура и Психеи», и Бальдини согласится при условии, что ни одна душа не узнает об этом позоре, Шенье поклянется, что ни одна, и ночью они тайно пропитают бювар графа Верамона чужими духами. Все будет именно так, а не иначе, и Шенье желал только одного – чтобы эта комедия побыстрее кончилась. Бальдини больше не был великим парфюмером. Да, прежде, в молодости, тридцать, сорок лет назад, он изобрел «Розу юга» и «Галантный букет Бальдини» – два действительно великих аромата, которым он был обязан своим состоянием. Но теперь он стар, и изношен, и отстал от моды и от нового вкуса людей, и даже если ему вообще еще удавалось состряпать какой-нибудь запах, то получалась допотопная неходовая дрянь, которую они через год в десять раз разжижали и сплавляли в розницу как добавку к воде для фонтанов. Жаль его, подумал Шенье и взглянул в зеркало проверить, не съехал ли на сторону его парик, жаль старого Бальдини; жаль его прекрасной лавки, ведь он разорится; и меня жаль, ведь, пока он разорится, я успею состариться и не смогу ее купить...

11

Джузеппе Бальдини хотя и снял свой пахучий сюртук, но только по старой привычке. Запах воды Франжипани давно уже не мешал его обонянию: ведь за несколько десятков лет он так привык к нему, что вообще уже не замечал. Он и дверь в кабинет закрыл, и тишины потребовал, но он не сел к письменному столу, чтобы размышлять и ожидать вдохновения, ибо знал куда лучше, чем Шенье, что вдохновение его не посетит. Дело в том, что оно еще никогда его не посещало. Да, верно, он был стар, и изношен, и перестал быть великим парфюмером, но он знал, что никогда в жизни и не был им. «Розу юга» он получил в наследство от отца, а рецепт «Галантного букета Бальдини» купил у заезжего торговца пряностями из Генуи. Все прочие его духи были давно известными смесями. Он еще ничего никогда не изобрел. Он не был изобретателем. Он был педантичным изготовителем доброкачественных запахов – вроде повара, который превосходно готовит по хорошим рецептам, но никогда не выдумает собственного блюда. Всю эту комедию с лабораторией, и экспериментами, и вдохновением, и таинственностью он разыгрывал лишь потому, что она поддерживала его реноме мастера – парфюмера и перчаточника. Парфюмер создает чудеса, он наполовину алхимик, считают люди, – тем лучше! О том, что его искусство – ремесло, как и любое другое, знал только он, и в этом была его гордость. Он и не хотел быть изобретателем. Изобретательство весьма подозрительно, полагал он, поскольку оно всегда означает нарушение правил. Он вовсе не собирался изобретать новые духи для графа Верамона. Во всяком случае, Шенье не придется ни уговаривать его, ни доставать «Амура и Психею» у Пелисье. Он уже достал эти духи. Вот они, на письменном

столе у окна, в маленьком стеклянном флаконе с граненой пробкой. Он купил их несколько дней назад. Разумеется, не сам лично. Не может же он собственной персоной явиться к Пелисье за духами! Он действовал через посредника, а тот тоже через посредника... Осторожность никогда не помешает. Ибо Бальдини собирался не только использовать эти духи для ароматизации испанской кожи, да и не хватило бы ему одного флакона. Он задумал нечто худшее: скопировать их.

Впрочем, это и не было запрещено. Это было только в высшей степени неблагородно. Тайно воспроизвести духи конкурента и продавать под своим именем было ужасно неприлично. Но еще неприличнее, если тебя поймают за руку, а потому Шенье не должен ничего знать, ибо Шенье любит болтать лишнее.

Ах, как это дурно, что порядочный человек должен так изворачиваться! Как тяжело жертвовать самым драгоценным, что имеешь, – столь жалким образом пятнать собственную честь. Но что же делать? Как ни крути, а граф Верамон такой клиент, которого ни в коем случае нельзя терять. Кроме графа, и клиентов-то почти не осталось. Снова приходится бегать за заказчиками, как в начале двадцатых годов, когда он только начинал свою карьеру, таскаясь с лотком по улицам. Богу известно, что он, Джузеппе Бальдини, владелец самой большой и удачнее всех расположенной парфюмерной лавки в Париже, финансово возвратился на круги своя, посещая клиентов на дому с чемоданчиком в руках. А это ему совсем не нравилось: ведь ему было уже за шестьдесят и он терпеть не мог ждать в холодных прихожих и расхваливать перед старыми маркизами туалетную воду, настоящую на тысячелистнике, уксус «Четыре разбойника» или мазь от мигреней. Кроме того, в прихожих царила совершенно омерзительная конкуренция. Например, этот выскочка Бруэ с улицы Дофина, утверждавший, что у него самый большой выбор помад в Европе; или Кальто с улицы Моконсей, пролезший в личные поставщики графини д'Артуа; или вот совершенно непредсказуемый Антуан Пелисье с улицы Сент-Андре-дез-Ар, каждый сезон вводивший в моду новые духи, от которых весь свет сходил с ума.

Такие духи от Пелисье могли повергнуть в хаос весь рынок. Если в каком-то сезоне в моду входила венгерская вода и Бальдини соответственно запасался лавандой, бергамотом и розмарином – Пелисье выступал с «Истомой», сверхнасыщенным мускусным ароматом. Всех вдруг охватывало зверское желание пахнуть мускусом, и Бальдини ничего не оставалось, как перерабатывать свой розмарин на воду для мытья головы и зашивать лаванду в саше. Зато когда на следующий год он заказывал соответствующее количество мускуса, цибетина и бобровой струи, Пелисье ни с того ни с сего сочинял духи под названием «Лесной цветок», и они мгновенно завоевывали успех. Ценой долгих ночных опытов или подкупая за бешеные деньги шпионов, Бальдини наконец выяснил, из чего состоит «Лесной цветок», – а Пелисье уже снова козырял «Турецкими ночами», или «Лиссабонским ароматом», или «Букетом королевского двора», или черт знает чем еще. Во всяком случае, этот человек со своей необузданной изобретательностью представлял опасность для всего ремесла. Как тут было не пожалеть, что суровые времена цехового права ушли в прошлое. К такому наглому выскочке, к такому рвачу, наживающемуся на инфляции запахов, стоило бы применить самые драконовские меры. Отнять бы у него патент, запретить соваться в парфюмерное дело... И вообще, пусть этот мошенник сперва кое-чему научится! Ведь он же не был обученным парфюмером и перчаточником, этот Пелисье! Его отец был не кем иным, как цедильщиком уксуса, и Пелисье был цедильщиком уксуса, никем иным. И просто потому, что цедильщики уксуса имеют право доступа к спиртным продуктам, ему удалось втереться в круг истинных парфюмеров, и теперь он бесчинствует там, как вонючий хорек. Зачем, скажите, каждый сезон вводить в моду новые духи? Какая в этом надобность? Раньше публика вполне довольствовалась фиалковой водой и простыми цветочными смесями, которые разве что слегка изменялись раз в десять лет. Тысячелетиями люди обходились ладаном и миррой, несколькими бальзамами, маслами и сушеными травами. И даже после того, как они научились с помощью колб и перегонных кубов получать дистиллирован-

ную воду, с помощью водяного пара отбирать у трав, цветов и различных сортов древесины их благоухающую суть в виде эфирного масла, с помощью дубовых прессов выжимать ее из семян, и косточек, и кожуры фруктов или с помощью тщательно профильтрованных жиров извлекать ее из цветочных лепестков, число запахов было еще ограниченным. В те времена такой тип, как Пелисье, вообще не мог бы возникнуть: ведь в те времена даже для изготовления простой помады требовались способности, о которых этот уксусник не смел бы мечтать. Нужно было не только уметь дистиллировать, нужно было быть изготовителем мазей и аптекарем, алхимиком и ремесленником, торговцем, гуманистом и садовником одновременно. Нужно было уметь отличить жир бараньей почки от телячьего жира, а фиалку «виктория» от пармской фиалки. Нужно было знать, когда распускаются гелиотропы, и когда цветет герань, и что жасмин с восходом солнца теряет свой аромат. Об этих вещах субъект вроде Пелисье, разумеется, не имел понятия. Вероятно, он никогда еще не уезжал из Парижа, никогда еще в жизни не видел цветущего жасмина. Ему и во сне не снилось, какая нужна гигантская черная работа, чтобы из ста тысяч жасминовых лепестков извлечь маленький комочек твердого вещества или несколько капель чистой эссенции. Вероятно, он знал только ее, знал жасмин только в виде концентрированной темно-коричневой жидкости в маленьком флаконе, стоявшем у него в нескораемом шкафу рядом со многими другими флакончиками, из которых он смешивал свои модные духи. Нет, в добрые старые времена, когда уважали ремесло, такой хлыщ, как этот Пелисье, не посмел бы соваться в парфюмеры. У него для этого нет никаких данных: ни характера, ни образования, ни скромности, ни понятия о цеховой субординации. Всеми своими успехами он обязан исключительно открытию, сделанному двести лет назад гениальным Маурицио Франжипани – кстати, итальянцем! – и состоявшему в том, что ароматические вещества растворимы в винном спирте. Смешав свои пахучие порошки с алкоголем и перенеся тем самым их запах на летучую жидкость, он освободил запах от материи, одухотворил его, изобрел запах как чистый запах, – короче, создал духи. Какое великое деяние! Какой эпохальный подвиг! Его действительно можно сравнить только с величайшими достижениями человеческого рода, с изобретением письма ассирийцами, с Евклидовой геометрией, с идеями Платона и превращением винограда в вино греками. Поистине Прометеев подвиг! Но поскольку все великие подвиги духа отбрасывают не только свет, но и тени и приносят человечеству наряду с благодеяниями также и горести и печали, постольку великолепное открытие Франжипани имело, к сожалению, дурные последствия. Ибо с тех пор как люди научились зачаровывать дух цветов и трав, деревьев, смол и животных выделений и удерживать его в закрытых флаконах, искусство ароматизации постепенно ускользало от немногих универсально владевших ремеслом мастеров и открылось шарлатанам, которые только и умели, что держать нос по ветру, – вроде этого вонючего хоряка Пелисье. Не заботясь о том, как и когда возникло волшебное содержимое его флаконов, он может теперь просто исполнять капризы своего обоняния и смешивать все, что вдруг взбредет на ум ему или публике.

Этот ублюдок Пелисье в свои тридцать пять лет наверняка уже нажил большее состояние, чем он, Бальдини, накопил наконец благодаря тяжелому упорному труду трех поколений. И состояние Пелисье с каждым днем увеличивалось, а его, Бальдини, с каждым днем таяло. В прежние времена такого вообще не могло быть! Чтобы почтенный ремесленник и уважаемый коммерсант был вынужден буквально бороться за существование – такое началось всего несколько десятилетий назад! С тех пор как везде и всюду разразилась эта лихорадка нововведений, этот безудержный понос предприимчивости, это зверское бешенство экспериментирования, эта мания величия в торговле, в путешествиях и науках!

Или взять это помешательство на скорости! Зачем понадобилось прокладывать такое множество новых дорог? К чему эти новые мосты? К чему? Чтобы за неделю можно было доехать до Лиона? А какой в этом толк? Кому от этого польза? Зачем сломя голову нестись через Атлантику? Чтобы через месяц очутиться в Америке? А ведь люди тысячелетиями прекрасно

обходились без этого континента! Что потерял цивилизованный человек в первобытном лесу у индейцев или негров? Или в Лапландии, на Севере, где вечные льды и где живут дикари, которые жрут сырую рыбу? Мало этого – пожелали открыть еще один континент, где-то в южных морях, говорят. А к чему это безумие? Другие, видите ли, тоже так делали: испанцы, проклятые англичане, нахальные голландцы, с которыми потом пришлось сражаться, чего вообще нельзя было себе позволять. Триста тысяч ливров чистоганом – вот во что обходится один военный корабль, а потом он тонет за пять минут от единственного пушечного выстрела, и прощайте навек, денежки налогоплательщиков. Господин министр финансов требует теперь отчислять ему десятую часть всех доходов, сплошное разорение, даже если не платить ему этой части, раз уж кругом царит такое падение нравов.

Все несчастья человека происходят оттого, что он не желает спокойно сидеть у себя дома – там, где ему положено. Так говорит Паскаль. Но Паскаль был великий человек, Франжипани духа, собственно, мастер в своем ремесле, а на таких нынче спроса нет. Теперь они читают подстрекательские книги гугенотов или англичан. Или пишут трактаты или так называемые великие научные сочинения, в коих все и вся ставится под вопрос. Будто бы нет больше ничего достоверного и все вдруг изменилось. В стакане воды, дескать, плавают малюсенькие зверушки, которых раньше никто не видел; сифилис теперь вроде бы нормальная болезнь, а не Божия кара; Господь, мол, создал мир не за семь дней, а за миллионы лет, если это вообще был Господь; дикари такие же люди, как мы; детей мы воспитываем неправильно; земля больше не круглая, как была до сих пор, а сплюснутая сверху и снизу, наподобие тыквы, – как будто в этом дело! Все кому не лень задают вопросы, и роют, и исследуют, и вынюхивают, и над чем только не экспериментируют. Теперь мало сказать что и как – изволь еще это доказать, представить свидетелей, привести цифры, провести какие-то там смехотворные опыты. Всякие дидро, и даламберы, и вольтеры, и руссо, и прочие писаки, как бы их ни звали, – среди них есть даже духовные особы и благородные господа! – своего добились: собственное коварное беспокойство, развратную привычку к неудовлетворенности и недовольству всем на свете, – короче, безграничный хаос, царящий в их головах, они умудрились распространить на все общество!

Куда ни погляди, всех лихорадит. Люди читают книги, даже женщины. Священники торчат в кофейнях. А когда однажды вмешалась полиция и засадила в тюрьму одного из этих прожженных негодяев, издатели подняли несусветный крик, а высокопоставленные господа и дамы пустили в ход свое влияние, так что через пару недель его снова освободили или выпустили за границу, где он потом беспрепятственно продолжал строчить свои памфлеты. В салонах болтают исключительно о траекториях комет и экспедициях, о силе рычага и Ньютоне, о строительстве каналов, кровообращении и диаметре земного шара.

И даже король позволил продемонстрировать при нем новомодную ерунду, что-то вроде искусственной грозы под названием электричество: в присутствии всего двора какой-то человек потер какую-то бутылку и посыпались искры, и на его величество, как говорят, это произвело глубокое впечатление. Невозможно себе представить, что его прадед, тот истинно великий Людовик, чье победоносное правление Бальдини еще имел счастье застать, потерпел бы столь смехотворную демонстрацию в своем присутствии! Но таков был дух нового времени, и добром все это не кончится.

Ибо если уже позволительно самым бесстыдным и дерзким образом ставить под сомнение авторитет Божией Церкви; если о не менее богоданной монархии и священной особе короля говорится просто как о сменяемых позициях в целом каталоге других форм правления, которые можно выбирать по собственному вкусу; если, наконец, докатились до того, что самого Бога, лично Всемогущего Господа, объявляют излишним и совершенно всерьез утверждают, что порядок, нравственность и счастье на земле мыслимы без Него, просто благодаря врожденной морали и разуму самих людей... О Боже, Боже! – тогда, во всяком случае, не стоит удивляться, если все идет вверх дном, и нравы вконец развратились, и человечество навлекло

на себя кару Того, Кого оно отрицает. Это плохо кончится. Великая комета 1681 года, над которой они потешались, которую они считают просто кучей звезд, была предупреждающим знамением Господа, ибо она – теперь-то мы знаем – предсказала век распушенности, духовного разложения, политического и религиозного болота, которое человечество само создало для себя и в котором оно когда-нибудь погрязнет и где пышно расцветают только такие махровые и вонючие болотные цветы, как этот Пелисье!

Старик Бальдини стоял у окна и ненавидящим взглядом смотрел на реку под косыми лучами солнца. Под ним выныривали грузовые лодки и медленно скользили на запад к Новому мосту и к пристани у галерей Лувра. Ни одна из них не поднималась здесь вверх против течения, они сворачивали в рукав реки на другой стороне острова. Здесь же все стремилось только мимо, порожние и груженные суда, гребные лодки и плоские челноки рыбаков, коричневая от грязи вода и вода, отливающая золотом, – все стремилось прочь, медленно, широко и неудержимо. А когда Бальдини смотрел вниз прямо под собой, вдоль стены дома, ему казалось, что поток воды втягивает в себя опоры моста, и у него кружилась голова.

Покупать дом на мосту было ошибкой, и вдвойне ошибкой было покупать дом на западной стороне. И вот теперь у него постоянно перед глазами стремящаяся прочь река, и ему казалось, что он сам, и его дом, и его нажитое за многие десятилетия богатство уплывают прочь, как эта река, а он слишком стар и слаб, чтобы устоять против мощного потока. Иногда, отправляясь по делам на левый берег в квартал около Сорбонны или у церкви Св. Сульпиция, он шел через остров, и не по мосту Сен-Мишель, а более длинным путем – через Новый мост, потому что этот мост не был застроен. И тогда он останавливался у восточного парапета и смотрел вверх по течению, чтобы хоть раз увидеть, как все стремится ему навстречу; и на несколько мгновений предавался сладким грезам о том, что дело его процветает, семейство благоденствует, женщины не дают ему проходу и его состояние, вместо того чтобы таять, все растет и растет.

Но потом, когда он поднимал глаза совсем немного кверху, он видел на расстоянии каких-нибудь ста метров свой собственный дом, стоящий высоко на мосту Менял, покосившийся и тесный; он видел окна своего кабинета на втором этаже и самого себя, стоящего там у окна и смотрящего вниз на реку и провожающего взглядом стремящуюся прочь воду, как вот теперь. И на этом прекрасный сон кончался, и Бальдини, стоящий на Новом мосту, отворачивался, более подавленный, чем прежде, более подавленный, чем теперь, когда он отвернулся от окна, подошел к письменному столу и сел.

12

Перед ним стоял флакон с духами Пелисье. Золотисто-коричневая жидкость, мерцавшая в солнечном свете, была прозрачной, без малейшей мути. Она выглядела совершенно невинно, как светлый чай, – и все же, кроме четырех пятых частей спирта, она содержала одну пятую часть таинственной смеси, которая могла привести в возбуждение целый город. Эта смесь в свою очередь состояла, вероятно, из трех или тридцати различных веществ, находившихся в некоем вполне определенном (из бесконечного числа возможных) объемном соотношении друг с другом. Это была душа духов – если, говоря о духах этого холодного как лед предпринимателя Пелисье, уместно упоминать о душе, – и ее строение нужно было сейчас выяснить.

Бальдини тщательно высморкался и немного спустил жалюзи на окне, так как прямой солнечный свет вредит любому пахучему веществу и любой более или менее изящной концентрации запахов. Из ящика письменного стола он достал свежий белый кружевной носовой платок и расправил его. При этом он откинул голову далеко назад и сжал крылья носа – не дай бог поймать опрометчивое обонятельное впечатление прямо из бутылки. Духи следует нюхать в свободном, летучем состоянии и никогда – в концентрированном. Он смочил несколькими каплями носовой платок, помахал им в воздухе, чтобы убрать алкоголь, а потом приблизил

к носу. Тремя очень короткими резкими толчками он втянул в себя запах, как будто это был порошок, тут же выдохнул его, помахал рукой, приближая к себе воздух, еще раз принюхался и в заключение сделал глубокий вдох и медленно, с многократными задержками, выдохнул воздух, словно выпуская его скользить по длинной плоской лестнице. Он бросил платок на стол и откинулся на спинку кресла.

Духи были отвратительно хороши. Этот убогий Пелисье, к сожалению, знал толк в своем деле. Боже, какой мастер, пусть он тысячу раз ничему не учился! Бальдини хотел бы, чтобы это были его духи – «Амур и Психея». В них не было ни тени вульгарности. Абсолютно классический запах, заверченный и гармоничный. И в то же время восхитительно новый. Он был свежим, но не назойливым. Он был цветочным, но не слащавым. Он обладал глубиной, великолепной, притягательной, роскошной, темно-коричневой глубиной, – и при этом в нем не было ни перегруженности, ни высокопарности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.